18+

Екатерина Мельникова

# Аморальное поведение



Екатерина Мельникова

# Аморальное поведение

«Издательские решения»

**Мельникова Е.**

Аморальное поведение / Е. Мельникова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854823-9

Степу и Глеба разделяет всего одна стена, но как будто сотни километров. Переживая гибель любимой девушки, Глеб закрылся в себе, но Степа готов пойти на все, чтобы сделать его счастливым, показать, что мир все еще полон ярких красок, и вернуть радость в свою семью. Что придется пережить отцу с сыном, прежде чем понять, что жизнь — одно мгновение, и близкие люди должны любить друг друга независимо от обстоятельств? Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-854823-9

© Мельникова Е.
© Издательские решения

# Содержание

Часть 1 Выжившее дерево 6
Степа, 9 лет 6
Глеб, 27 лет 16
Степа, 9 лет 18
Глеб, 27 лет 44
Степа, 9 лет 47
Глеб, 27 лет 50
Степа, 9 лет 54
Глеб, 27 лет 57
Степа, 9 лет 60
Конец ознакомительного фрагмента. 61

# Аморальное поведение

## Екатерина Мельникова

© Екатерина Мельникова, 2025

ISBN 978-5-4485-4823-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Часть 1 Выжившее дерево

## Степа, 9 лет

Некоторые говорят, что я индиго. Я вытащил значение термина «дети индиго» и признаюсь. Это не так. Даже когда это слово на небе облака складывают, все равно не так. Кроме того, сам по себе этот термин чистая мистика. Видимо, мой секрет в дедуле и Волшебном Блокноте Знаний. В этот Блокнот я записываю все самые интересные слова и странные выражения, не сомневаясь, что дедуля откроет мне шифр от каждого из них. Дедуле можно позвонить в час/два/три часа ночи и задать любой вопрос – глупый, умный или неловкий, зная, что ответ будет готов, как его фирменный горячий пирожок с капустой. Да, у меня, как и у всех, есть комп с Интернетом, но дед вкручивает гораздо интереснее, я сравнивал. Мой толстый, как книга, Волшебный Блокнот, который я завел, научившись писать, измучен мною ровно наполовину. Из него разноцветными язычками торчат закладки, в нем загнуты страницы на самых интересных местах с самыми моими любимыми нотами и аккордами для пианино, а также сложными мыслями, которые у меня все еще в ходе расследования.

Вот о чем я принялся задумываться не так давно.

Наши стены. Стены в квартирах людей. Они нужны людям для того, чтобы их защищать. А от кого же? Только ли от чужих? Не знаю, как у вас, но у меня в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома неподалеку от бухты и леса (от того, что от него осталось), где я живу со своим вывернутым папой и его невысыхаемым одиночеством, наши стены защищают нас не только от воров, холодов, знойных ветров, любопытных волков и голодных соседей (ой, извиняюсь, наоборот), но и нас с папой… друг от друга. Причем эти стены между нами с каждым днем становятся крепче, как в башне. Папа-юрист наносит слой неприкосновенности частной жизни со своей стороны, а я, бывший художник, наношу его же на холст стены со своей стороны.

В ранних работах, где я представил свою семью, мы с папой стоим порознь, а между нами стена – невидимая, но самая настоящая. Себя с дедулей я рисовал отдельно от папы, хотя мы и не всегда отгораживаемся стенами. Иногда мы подходим к стене каждый со своей стороны и прислушиваемся. С каждым днем слышно все меньше. Мы пытаемся придумать, как подойти друг к другу, как постучать в двери, чтобы после этого не поссориться, но у нас ничего не получается. Сколько бы я ни старался, но даже на рисунке у меня не выходит нас с папой сблизить, а так хочется взять резинку и стереть пространство между нами.

Однажды я нас вырезал. И склеил вместе на листе со старательно нарисованным ромашковым полем. Короче, психанул. А вернувшись через двадцать минут, обнаружил, что мы с папой скукожились, а ромашки вокруг нас завяли и начали вонять.

Плохой клей мне попался…

С мамой дела обстоят намного хуже – я *вообще* разучился рисовать *ее*, хотя брал в школе дополнительные уроки по рисованию и мой стиль со временем должен был стать лучше, а не хуже. Но я сплоховал из-за мамы. Дождаться бы, когда она на мое письмо или звонок ответит. В списке моих желаний стоит не только папа, вагон красок (ой!) в смысле стопка новых нот для пианино, еще кот, и мама – я так хочу увидеть, как она выглядит сейчас! А я не могу даже представить себе ее лицо. Пытаюсь рисовать, но рука при мысли о маме не может провести первую черту.

Поэтому я бросил рисовать. На уроках изобразительного искусства приходится. А по сути, я утопил это неблагодарное дело в прошлом, хотя я все равно все еще художник, но теперь выражаюсь не красками, а прозой (на моем счету миллион писем для мамы). Рисую я

теперь только в мыслях, которые в понедельник утром улетают на каникулы. В темные времена лучшее во мне вытесняется другими чувствами. В такие времена мой единственный импульс – это сложить пальцы пистолетом и бахнуть в висок.

То, что я сейчас делаю в ванне перед зеркалом, наши девочки в классе называют «наводить марафет». На самом деле это называется нелепой возней. Нелепая возня – мой образ жизни утром перед школой. Именно это словосочетание полностью отражает эту концепцию действий – суматошные, выискивающие попытки, торопливые усилия собрать себя в самое нежеланное место на земле, на которые смешно и жалко смотреть. Сперва я по частям сваливаюсь с кровати (тело оказывает такое сопротивление, что кости рассыпаются на полу). Затем надеваю штаны и любую футболку, потом чищу зубы, далее раскрываю глаза руками, вижу, что «любую футболку» надел шиворот-навыворот, снимаю, топчусь на ней ногами, а-то в школе кто-нибудь оттырит (не верю в приметы, просто перестраховываюсь), переодеваю футболку, а темную косую челку поправляю рукой, пока в зеркале не начинает отражаться крепкий пацан с сонными, но все ж открытыми глазами. Это потому, что кончились летние каникулы, подарив детям неземную радость подвергаться адским пыткам уроками, а лично мне – еще один шанс привлечь к себе взгляд отца, пусть хоть исподлобья. С тех пор, как мама вышла замуж за какого-то чувака, он обращает на меня чуть больше внимания, чем она, чаще всего за тем, чтобы я ходил выносить мусор. Самое интересное занятие в мире. Ходить спускать по горловине мусоропровода свидетельства прожитых дней.

Волочась к порогу с пачкой сухариков в руке, смотрю на свои кроссовки оценить степень чистоты. Нормально, в школу можно. Подождите. Нельзя. На мне шиворот-навыворот надеты спортивные штаны! Приходится бросать сумку, сухарики и ключи, снимать и выворачивать джинсы, а для этого приходится снимать кроссовки. Ругаться тоже приходится, сидя прямо на полу прихожей в трусах, ведь я дома один, папа намного раньше меня в свой суд уезжает. У него там новая должность. «Его честь» сидит там и, стуча молотком, судит всех, кроме себя, еще и получает за это бабки, а мне и сотки в жизни не выделит за то, что тащусь в пронзительно нелюбимую школу.

Эх, папа. Не понимаю, почему ты не гордишься мной, если я умею играть в футбол и играть на пианино умею. И никогда не прогуливаю школу, как бы сильно ни хотел. Всегда встаю рано, у меня компашка друзей, я почти всегда прихожу вовремя, и я *научился* плавать, когда ты швырнул пятилетнего меня в бассейн в сауне под громкий угар своих обкуренных дружков.

Сто лет я переспрашивал папу после этого веселого случая:

– А что, если бы я тогда не всплыл, а утонул?

Папа отвечал неоднозначно:

– Желание жить срабатывает мгновенно, и оно ни одного человека не затянет ко дну.

Ага, ага. Как будто я не слышал о том, как тонули люди. Даже тот, кто умеет плавать, тонет. Даже корабли тонут. И самолеты валятся с небес. Думая об этом, меня начинает тошнить, словно сама мысль о вероятности смерти в тот день укачивает. Целый год я боялся подходить к воде, правда, ездить на мотоцикле с папой куда опаснее. Месяц я с ним после того контрольного прыжка не разговаривал! Все рассказал дедуле. Он отцу тогда наподдал – тот пятый угол искал, чтоб позволить своему лицу поменять красный оттенок на белый. Звук оплеухи разлетелся на весь район, через неделю его даже чайки до сих пор зеркалили. Подозреваю, что мой отец младше меня. Только не спрашивайте, когда он повзрослеет. Если бы мы с дедулей знали…

Сегодня у меня на пути встречается не так много кошек, как обычно. Дело в том, что в близлежащих к моей крошечной школке старинных пятиэтажных домах найдется по одному разбитому люку от подвала, и во всех этих подвалах прописались коты, кошки и их котята. Они

захватили целые помещения и трубы. Перед уроками я навещаю каждое семейство и кормлю их домашними сухариками, сыром, мертвой курицей из бесцветного папиного супа или колбасой. Задумываюсь над своими возможностями и тем, как могу использовать их, чтобы помочь бездомным животным, все лучшие идеи и мысли записываю в Волшебный Блокнот, но, к сожалению, даже брошенного котенка не могу принести домой с улицы, поскольку отец меня за это разнесет, а из котенка спечет пирожки. Поверьте, если бы вы увидели моего бледного лохматого и тощего отца, его неряшливый стиль, все его безумные татуировки, его тонкий шрам вдоль щеки и его манеру летать на мотоцикле, у вас возникло бы такое же подозрение. Ну а чем еще этот судья в мантии, ловко, как трансформер, превращающийся вечером в байкера в черной коже, может заниматься у себя дома? Только печь пирожки с котятами. Смотрели фильмы про трансформеров? Один из них со мной через стену живет.

С улицы я слышу звонок на урок, тревожный и визгливый, как пожарная сирена, от него даже коты разбегаются. Оставляю полупустой пакет сухариков грязным котяткам, и, перекинув через голову ремень от сумки, реактивным самолетом лечу в кирпичное здание, перепрыгивая клумбы и забор. Все сидят за партами, когда влетаю в класс и из реактивного самолета превращаюсь в мальчика, который дышит громче, чем разговаривают двадцать пять человек. Свое дыхание я бы нарисовал темно-синим, настолько оно сумасшедшее. *(Так, Кипяток, картины выкинул из головы!)* Нового преподавателя на месте нет, и я перевожу дух, делаю вид, что пришел вовремя.

Одним прыжком приземляюсь на свой стул за первую парту среднего ряда и принимаюсь копаться в сумке, но сперва жму руку Ярославу Пашутину. Или просто Паштету.

– Что за урок? – спрашиваю, все еще пытаясь откапать в сумке смысл жизни.

– Сейчас будем знакомиться, а вторым уроком чтение. – Уныло отвечает Ярик. Худший день в жизни сегодня не только у меня. – Ты чего не был на «линейке» первого числа? И не отвечал на мои сообщения все выходные? Мы хотели собраться на Точке.

– Интернет тупил. Отец сказал, не пойдет на «линейку», ему ведь наконец-то дали работу мечты, ну и с каким чертом тогда *мне* там было тусить? Еще я не смог из хаты выйти, потому что отец *нечаянно* забрал все ключи, когда пошел шляться. – Слово-яд «нечаянно» выходит идеально, потому что за ним стоит нечто настолько фальшивое, настолько ненадежное, сгнившее, как деревянные дощечки пола, что его можно стереть с рисунка, если бы оно было нарисовано самым простым карандашом с самым легким нажатием на бумагу.

– Так ты взаперти просидел? Несколько дней? И что делал?

– Играл.

– Во что?

– На пианино. Что интересного было на «линейке»?

– Абсолютно ничего, какой-то олень из четвертого класса наряжался в Буратино и бегал по площадке с бумажным ключиком, всех спрашивая, на черта надо учиться. Я думал, приедет твой дедушка, как всегда.

– Деда в Питере задержали в суде на пару дней. – Собственный ответ заливает мою душу сыростью, потому что я начинаю воображать, как круто прошли бы выходные, если б не этот неутешительный факт.

Ярик вкратце пересказывает, как прошла игра на Точке, и как затем прошел дома вечер с его родителями-медиками: его папа-педиатр спалил цыплячьи крылышки, а мама-фельдшер стала орать на Ярика, потому что подумала, что это *он* их спалил. Папа признал свою вину, и маме пришлось продублировать истерику по отношению к другому обвиняемому. Затем друг рассказывает, что к нам наведались новые учителя. То, что у нас новая классная руководительница, мне известно, но чтобы и по музыке пришла другая училка, это для меня уже сюрприз в пороховой коробочке.

– И как она?

– Молодая, стройная и хорошенькая. – Хитро подмигнув, шепчет Ярик, будто бы это он ее такой слепил. Ничего себе! – У нее во-о-от такие сиськи!

– Не показывай на себе, Паштет. А новая «классная» из чего?

– Из страшного сна, – непринужденность Ярослава перерастает во что-то такое, от чего я хочу спрятаться на дне Японского моря. – Во время «линейки» я хотел проткнуть свое сердце Буратининым носом.

– Старая? Злая? Летает на метле и носит шляпу-колпак? Убивает прикосновением? Замораживает взглядом? Ест детей до десяти лет? – угадываю я, но Паштет интригует молчанием, сопровождаемым плотно сжатыми губами. Какой бы фантазией на космическом уровне я ни обладал этим утром, никогда бы в жизни не предугадал такой резкий сюжетный поворот.

– Дружище, это мужик.

– Гонишь?! – оглядываю весь класс, развернувшись в полкорпуса. Ситуация: «Зацени приметы по достоинству». – Нас будет вести мужик?

Люди положительно гудят. Только сейчас замечаю ауру нелепой возни, которая витает вокруг каждой девчонки, кроме Принцессы Лали. Вот дрянь, этот новый учитель еще и красивый.

*Эй, эй!* – хочется закричать в небесную высь. – Вообще-то у нас уже имеется один учитель-мужчина, красивый, лет тридцати максимум, который преподает физкультуру (нет, не преподает, а прорявкивает), и одного такого потрясения бедным детям достаточно, не все ж такие отвязные, как я, но чтоб *двое!* Справлюсь ли я? Какая катастрофа.

Прежде чем увидеть препода вживую, мне необходимо понять некоторые особенности его личности, чтоб подготовиться морально – это все равно, что со всех сторон изучить предмет рисования и разгадать его скрытую суть прежде, чем начать выносить образ на бумагу, поэтому я расспрашиваю Ярика подробнее, но не успевает он ответить, как все наши курицы делают глубокий синхронный вдох, полный обожания, поправляя на себе одежду и волосы. Секунда – и я смотрю на супермена в очках, который вошел в наш класс танцевальски, и перед нами оказалось нечто в лучах юпитеров. Стройность его, заключенная в девяти метрах роста, полна тихой мощности, для учителя младших классов эти полуприкрытые в истоме веки и большие губы из серии «специально для теток» – абсолютный нестандарт. По-хорошему, ему бы прямо сейчас в студию к студентам-художникам сверкать там своею неповторимостью.

– Не вставайте, мы ведь уже поздоровались, девочки, не надо. – Так говорит, будто в классе одни девочки только и учатся. Затем этот сукин сын обнажает свои идеальные зубы (ну звезда, не иначе), я оглядываюсь, лишь бы от этого блеска зрения не лишиться, и замечаю, что возбужденные девчонки отклеились от стульев, когда же ленивые пацаны скучно растеклись по своим скучным столам, приступив ожидать конца скучных уроков. Учитель неторопливо садится за письменный стол напротив меня, кладя перед собой журнал, так неторопливо, словно чтобы девчонки успели насладиться его движением. Я и не подозреваю, как у меня зигзагом кривится рот. Сперва обращаю внимание на томный низковатый голос, – он как будто питается всеобщей девичьей симпатией в свой адрес вместо завтрака. Может, мне остудить его воспаленную гордость, чтоб она не валила из него, как дрожжевое тесто из-под крышки?

– О, вижу новое лицо за первой партой. – Говорит он.

– Я с первого класса тут сижу. – Вздыхаю я. – Каждый день прихожу сюда и думаю, зачем я это делаю? Неужели ради романтики предложных падежей?

Новый учитель чуть опускает подбородок и рассматривает меня сквозь очки, не совсем уверенный, что разговаривает с девятилетним ребенком. Я тоже изучаю его темно-каштановые коротенькие волосы, большие очки в черной оправе, и его глаза – нынче *огромные* и хлещущие зеленым, они просто невозможные, как у колдуна. А он аккуратный! Даже чересчур. Строгий, но надеюсь, не грубый, как физрук. Рубашка выглажена на миллион раз. Я тону в судорожном девчачьем дыхании. Все девчонки одинаковы на предмет податливости на интересную

внешность. Эти дурочки вечно влюбляются, и пить не дай. Они поправляют на себе прически даже при виде тридцатилетнего физрука с лесной зарослью на лице, но новый учитель-колдун не похож на землянина-физрука. Он потусторонний, об этом даже легкий бриз на рубашке говорит.

– Кипятков?

У меня подпрыгивают кишки. В другие дни ты о них и не вспоминаешь. Почему собственная фамилия пугает до смерти во время урока?

– Угу. – Чувствую, как моя голова мычит и кивает, а потом сглатываю, поскольку меня напрягает его гипнотический взгляд. – Степа Кипятков. Это я.

– Имя твоего нового учителя – Ковтун Дмитрий Валерьевич. – Ну и тон. Он что, заставляет меня трепетать? Или это попытки доказать, что он тут главный, невидимая рука Бога, которая дергает за веревочки, эдакий кардинал, от которого зависит все? – Представляюсь тебе персонально, потому что *все* ребята меня знают, а ты нет. – Длинные руки Дмитрия Валерьевича завязываются на груди. Думаю, что и на изнанке этой груди у него что-то завязано в кулек. Голос и взгляд сочат неприязнь самого предупреждающего красного цвета. Он будто замирает над холстом с кистью в руке и, глядя на свободное место, заранее знает, что получится отстойно. И все из-за того, что я не глазел на Буратино из четвертого класса вместе со всеми на унылой «линейке» и не принес учителю цветы. Между прочим, как теперь себе это представлять? Пацан мужику дарит цветы. Пускай это ученик с учителем, все равно весьма тоскливое зрелище, как младенческая возня на обоях. – Почему тебя не было на празднике первого сентября?

– С какого года это – праздник?

Пока одноклассники упражняются в искусстве оглушать смехом, с лица учителя стекают все возможные выражения. Артистичны теперь только глаза, испускающие зеленое изумление. Они сейчас такие яркие, что на них баночку гуаши в один присест израсходовать можно.

– Я не понял.

– Мир велик и до конца не изучен. – Отвечаю на это его «не понял», и вижу, как Дмитрий, сощурившись, принимается оценивать мои умственные координаты, решая, с чем же меня съесть. – Дмитрий Валерьевич, а сколько вам лет? – теперь я стал тем, кто исполнил мечту девчонок узнать возраст их нового принца. Некоторые отрываются от стульев, так отчаянно рвутся к разгадке, но учитель оказывается скуп на личную информацию, у него внутри сотня секретов, завязанных в узел. Кроме того, он до сих пор приходит в себя от моего смелого ответа.

– Может, тебе мой номер паспорта озвучить? Ты откуда такой взялся?

У меня кульков в душе нет, почти все узелки развязаны. Что там по этому поводу рассказывал дедуля? На этот вопрос я отвечаю недвусмысленно, доказав всем, насколько высоки мои знания в области появления на свет людей.

– Какие нынче начитанные дети. – Замечает учитель, пока заливисто хохочет та половина класса, которой родители тоже рассказали об этом все подробности, кроме густо краснеющего Ярослава. Краснеет он не за меня, а от самой сути мною сказанного. По лицу Дмитрия видно, что мой рассказ его ничуть не впечатлил. – Хватит ржать!

– Дмитрий Валерьевич! – перекрикивает его Кристина Веник. На самом деле, конечно же, Винник, но Ярик назвал ее Веником.

– Что случилось?

– А снимите очки на секундочку, я хочу посмотреть, насколько вы без них красивее.

– Так, сидеть смирно… Как тебя, напомни-ка?

– Кристина Винник! – произносит Кристинка так яростно, что в конце впору добавить «к вашим услугам, господин». Ярик поглядывает на нее как-то неласково.

– Кристина, сидеть смирно. Кипятков, кто тебя воспитывает? – Дмитрий так быстро переключается на мою волну, что губы Кристинки вздуваются от негодования, точно их поцеловала пчела.

– Дедушка Вова. – Вырывается у меня. – Но его сейчас в городе нет.

«Иногда мне кажется, что мой папа – мой старший брат, а дедушка – это мой папа», – хочется сказать мне, но вылетает вот это.

– С кем ты живешь, пока его нет?

– С папой.

– Я хочу познакомиться и пообщаться с твоим отцом.

*Глупая идея!* – собираюсь сказать, но вместо этого произвожу банальщину в виде вопроса «зачем?»

– Ты – хам, который прогулял День знаний и который, если не научится подбирать тональность при разговоре с классным руководителем, будет учиться этой науке в кабинете директора.

Ага, до него дошло, что на моей футболке впору написать «Осторожно! Кипятков!» Ни то ошпарю.

– Хорошо. – Я смиренно киваю. – Договорились, буду фильтровать базар.

Учитель как будто проглатывает очищенный лимон.

– Ну, хоть так договорились. Итак, наш первый урок я решил полностью посвятить знакомству со своими новыми детьми. Сначала *я* расскажу о себе, – молодая ладонь с длинными пальцами касается середины груди, точно у него там самая лучшая тайна из всех тысяч остальных. Не зная, зачем, я ищу на его пальце обручальное кольцо, но не замечаю ничего подобного. – Затем немного слов о себе произнесет каждый из вас, начиная с первой парты того ряда, который ко мне ближе. Коротко и в основном. Ясно?

Класс вдумчиво жужжит. Яснее некуда, яснее молнии и солнца, он специально выбрал наш ряд, чтобы *меня* выслушать первым. Иногда мне хочется стать тем, кому звезд с неба не хватает, чтобы не понимать взрослых до конца, но часто получается так, что я вижу взрослых отчетливее, чем они думают. А думают они одно – что дети до пятнадцати лет идиоты.

– Запишите у себя в дневнике мое имя. Я перешел сюда работать из сороковой школы.

– Ого! – говорит кто-то позади меня. Узнаю по голосу коротышку Дениса Фаталина. Для своих он просто Дэн, а иногда Хоббит, но только потому, что его это не обижает. Некоторые люди способны по-доброму посмеяться над своим недостатком, этим самым превратив недостаток в изюминку и задать себе хорошую характеристику. Я обожаю таких людей. Могу не выносить только очаровательных. Плохая черта. Не очаровательность, а то, когда человек ее в себе осознает. – Далеко. А чего перешли?

– Я переехал. Вместе со мной в школу устроилась Юлия Юрьевна, ваш новый учитель музыки. Мы с ней давние знакомые, еще со школы. Кто-то из вас уже видел ее. Кто-то, кто, в отличие от некоторых, не пропускает первое сентября.

Ответьте, кто в курсе, этот придурок до конца учебного года будет пилить меня великим «первым сентября», которое я посмел пропустить?

– Я буду вести классное руководство, а также изучать с вами основные предметы: русский, чтение, природа, математика, история. Остальные науки вам преподают другие учителя, в других кабинетах. Я расскажу о себе, как об учителе. До меня дошли слухи, что у вас бывали учителя, которые выходили из себя. – (Я знаю таких учителей, которые орут и обзываются, и, по-моему, в этом они полностью олицетворяют себя настоящих, никуда из себя не выходя и не притворяясь). – Так вот, я не обзываюсь. Заорать могу в редких случаях, если недурно вывести, но вы ведь хорошие детки, поэтому вам не нужно этим заниматься. Во всяком случае, я не вижу смысла орать и обзывать. Наказывать сразу. Как я наказываю, хотите узнать сейчас или потом?

– Скажите сразу, а-то фантазия девочек им что-нибудь подкинет, – предупреждаю вполне серьезно, но он опять напускается на меня, словно гусь.

– Я тебе расскажу, как я наказываю. Более того, на *тебе* продемонстрирую.

– А может не надо? Тогда это будет сюрприз.

– Если оставаться после уроков неделю или две (в зависимости от степени вины) для тебя приятный сюрприз, то я могу наказать тебя прямо сегодня. Тем более есть, за что. За аморальное поведение. – Слышали бы вы, с каким мерзопакостным чувством в душе учитель выплюнул это словосочетание. Я ему сейчас покажу!

– Смотря, что для вас является «моралью». На основе именно своего определения вы и собираетесь меня наказывать. Но наши взгляды могут не совпасть. Что делать будем? Подадим иск в суд?

– Положи мне на стол дневник. Хочу похвастаться твоему папе, какой богатый у тебя язык для маленького мальчика. – Бесстрастно просит Дмитрий Валерьевич сухим бесстрастным голосом. Мне интересно знать, бывает ли он когда-либо более эмоциональным, но пока что кладу на край его стола свой новенький дневник с пронзительно-красной тачкой на бегу. – Хорошо. На чем я остановился? Ах, да. Наказываю я тем, что вы остаетесь после уроков и сидите. Причем не как вам хочется: лежа, полулежа, слушая музыку или с кем-то переписываясь. Все телефоны я забираю, причем предварительно вы отключаете на них звук. И как положено сидим: прямо, руки положив перед собой.

*А руки при этом в наручниках или нет?*

– По желанию вы можете делать заданные на дом уроки, кстати. В сороковой школе один, ммм, *очень* нехороший мальчик сидел у меня в классе до двенадцати.

– Ночи? – пугается Ярослав, хотя чего пугаться этому тихоне-то?

– Да, ночи.

Мы с другом переглядываемся. Я слышу, как многие люди за нашими спинами переглядываются. Даже птицы и деревья за окном просто в шоке, а облака падают с неба в обморок.

– У вас явно нет личной жизни, – подмечаю, хотя планирую помалкивать, пока не произошло убийство.

Я хотел увидеть яркий, шумный и эмоциональный драмтеатр? Буйство красок с картин раннего Шагала? Я это получаю в эту самую секунду, и тут же хочу сдать билет. Дмитрий Валерьевич роняет на стол кулак, от чего стол трещит по швам, и принимается не просто кричать (что, по его словам, было редким явлением), а вопить.

– Все, останешься после уроков! – вопит он.

И тут до меня доходит, что оставлять ребенка в школе до двенадцати ночи, тем более в наше безумное время, для учителя слегка недопустимо. А отнимать личные вещи учитель не имеет никакого права. Так сказал дедушка. *Никакого права.*

– Ведь вы не переехали. – Вырывается у меня еще что-то немыслимое. – Вас *выперли* из сороковой школы. Может, и вам надо изменить стиль поведения? Придется каждый год ведь школу менять.

– Я не меняю школу каждый год! – вопит учитель после того, как один из кульков в его душе самым варварским образом надрывается, чему я и только я виной. Девочки притаились и опустили головы. Я затылком чувствую их настроение, опустившееся до отметки самого мрачного. – Это было только раз!

– Неудивительно, если вы там устроили исправительную колонию. – Что заставляет людей заходить в темное логово все глубже, зная, что по пути им не встретится добрая феечка?

Учитель глубоко дышит, успокаивая обнаженные нервы.

– Я тебя остужу позже, Кипятков. Далее, что я хочу сказать своему новому классу. У меня не бывает любимчиков и не бывает нелюбимых учеников. Для меня важен каждый ребенок. Тем более что у меня всегда найдется время на любого из вас. Домашние работы я каждый

урок проверяю у всех без исключения, даже если к доске вызываю отвечать всего пару человек. В случае невыполнения домашних заданий в журнал безоговорочно ставится «два». Пересдать на лучшую оценку задание допустимо, но не выучить урок совсем – нет. Чем хуже мои дети ведут себя на уроках, тем более объемное задание весь класс получает на дом. Наказываю я не только мальчиков, это касается и девчат тоже.

– Ой, да они только об этом и мечтают! – говорит кто-то вместо меня. Мне кажется, снова Дэн. А слова его подтверждены прямой спиной Кристины, которая сложила руки как положено исключительно ради Дмитрия Валерьевича, прямо из кожи выпрыгнула. Хотя за такую позу он ее никак не накажет, все равно Кристина вся выпрыгнула из кожи.

– Стало быть, вам понятны мои принципы работы и требования. – Ощутив всю сладость коллективного беспокойства, он разваливается в своем кресле с едва уловимой усмешкой победителя. – А многого мне не нужно: хорошее поведение и знания. При всем желании это выполнить может каждый из вас. Бояться меня не надо, я не кусаюсь, но и поблажек не делаю в равной же степени. Я не злой и не добрый. Оценки ставлю такие, какие заслужили, мне все равно, насколько круты ваши родители: я не из тех, кому можно заткнуть рот статусом. Деньги и шоколадки мне на стол класть не надо. Я вообще ненавижу сладкое. А в больших деньгах у меня нет необходимости, я работаю учителем, потому что просто люблю свою работу.

– Угу, над детьми издеваться. – Слышу чье-то очередное колкое замечание. Упс, это ведь снова я!

– Каждый из ваших пропусков должен быть заверен справкой от врача или мне должны позвонить ваши родители. Если у вас не выполнено задание, мне все равно, какая на то причина – не было вас, или вы забыли, это абсолютно не важно. Нет задания, значит, нет знаний. А если нет знаний, в журнал автоматом ставится «два». И обижайтесь сами на себя. Учеба нужна не мне, а вам, потому что у меня уже имеется аттестат и диплом. На ваших партах лежат чистые листки. Взяли ручки. – Спокойствие учителя никому здесь не нравится, оно зловещее, как ведьмовская избушка с черными кошками, зельями и котлами. Весь мой напуганный класс послушно гремит ручками, ну и я спокойно беру ручку с бумагой. – И пишем. Полное имя обоих родителей и все их контактные телефоны. Я понимаю, что не у всех есть двое родителей, а у кого-то их вообще нет. Поэтому записываем контакты и имя того, кто воспитывает вас. Это могут быть старшие совершеннолетние братья или сестры, бабушки, дедушки, и другие опекуны. Информацию каждого я сегодня же проверю, и будь та неверна, обязательно найду настоящую. А сейчас подойдем к сути урока, когда вы расскажете мне пару слов о себе. Со Степы начнем, пока остальные пишут.

Мысленно перекрестившись и положив ручку, я перепрыгиваю через свой стул. Кто-то сзади с поддержкой говорит «Жги!», а я все равно не могу расслабиться, у меня сжимаются ребра, потому что я боюсь наляпать чего-то не того.

– Меня зовут Степа. Среди друзей я Кипяток. Но лучший друг… он… он у меня единственный, лучший, это Ярик, он рядом со мной сидит, вот он, он меня просто Степой иногда называет.

– По твоему голосу я слышу, что это довольно приятно. – Перебивает на миг Дмитрий Валерьевич, и я улыбаюсь про себя, оттого что на этот раз заставляю его улыбаться. Мои ребра чуть разжимаются.

– Да.

– Продолжай.

– Еще я люблю своего дедушку. Он тоже судья.

– Как понять – тоже?

– Как мой папа, правда, по сравнению с ним, дедуля рассматривает семейные дела. Разводит пары, делит имущество, решает, с кем будут жить дети после развода…

– А какие дела рассматривает папа?

– Он судит несовершеннолетних преступников. Мою маму зовут Марта, она замужем за каким-то чуваком. Мы с ней не видимся уже два года, ровно столько она замужем. Судя по тому, что она не ответила ни на одно из сотни моих писем, я чувствую, что не имею значения для нее. А я все равно пишу и звоню. И звоню. И звоню, и верю, как наивный дебил, что она поднимет трубку, а она не поднимает! Папа говорит, что она того не стоит, но я хочу разобраться с ней *сам*, понимаете? Он не должен в это лезть.

– Успокойся, во-первых. – Говорит Дмитрий Валерьевич, и я наконец-то торможу своих внутренних коней, понимая, сколько пыли вылетело из-под копыт, насколько много лишнего я наговорил всему классу и незнакомому человеку, и как много чувства превознес в свои слова, настолько эти чувства больше невозможно оставлять одному себе. Наверное, не нужно было бросать рисование (целая неделя без рисования, ужас!), я бы тогда молчал намного больше. В том числе о том, что мне нужна мама. Даже несмотря на то, какой классный у меня дед, мне все равно нужна мама. И папа. – Во-вторых, фильтруй базар, как сам выражаешься. Как еще объяснить, что хороший рассказ ты портишь своими словечками? Избавь меня от них. Итак, ты рассказал мне немного о своей семье, но я просил тебя рассказать о себе. Сначала я хочу познакомиться *с тобой*. Ты не против?

– Мне нравится гулять (обычно играть в футбол), еще собирать конструктор, ходить в кино и на выставки. Иногда я читаю книги о животных, но не только о них. Слушаю разную музыку. В основном русский рок, потому что папа… играет это на гитаре. Точнее, играл. Его гитара стоит в пыли уже давно. И не только она у нас стоит в пыли. У меня есть мечта. Несколько мечт. Я хочу кота. Но отец никогда не разрешит. Вот такая у меня жизнь.

– Жизнь такова, что надо уметь добиваться всего, чего хочешь, – твердо говорит учитель и мне сразу видно, что это его лучший метод, – но при этом ценить то, что имеешь. – Торопливо добавляет он, будто сперва сказав, а после осознав, что плетет. – Есть ведь что-то, доставляющее тебе радость помимо, как ругаться.

– Да. – Я же про Лали еще не рассказал! И про пианино. Но я и не стану, оставлю это одному себе, не буду делиться, даже если из мира исчезнут все цвета. – Я люблю животных. И буду работать в фонде, который занимается их защитой. А лучше организую свой.

– Отлично, то есть волонтером будешь? Хорошо. Садись. – Говорит учитель, потому что я посылаю ему сигнал о том, что на этом у меня все. Такие сигналы учителя идеально понимают. – Очень было интересно тебя послушать. Ладно, не буду тебя наказывать в первый день, ты в итоге меня *приятно* поразил, но если станешь плохо вести себя и дальше, я достучусь до твоего отца.

– Даже я не могу до него достучаться, а мы в одной квартире живем. – Мой рот открывается сам и язык тоже сам извивается в этих словах. Так бывает. Чем сильнее хочу заткнуться, тем больше говорит за меня предательский рот. Просто я очень сильно скучаю по запаху красок. Я заполняю пустоту.

– Степа… – что-то в моих словах заставляет учителя отвечать так дружественно и мягко, что мне приходится знакомиться с Дмитрием Валерьевичем еще раз. Это как смотреть на картину вверх тормашками, а потом повернуть под нужным углом и наконец-то осознать начинку. – И *каждый* из вас послушайте, пожалуйста. Я очень надеюсь, мы с вами станем семьей. Знаю, семья для многих – особое слово. Но, к сожалению, есть немало детей, у которых имеются проблемы, связанные с семьей – одни испытывают недостаток внимания, других покинул кто-то из родителей, а в худших случаях дети страдают от домашнего насилия. Сейчас мы не будем выяснять, есть среди вас такие или нет, но знайте, что с любыми проблемами вы можете обращаться ко мне. Все без исключения, кого прорывает рассказать о своих проблемах сильнее, чем вы хотите говорить о себе. Даже если вам угрожают, ничего нельзя бояться. Говорят, порой один обычный разговор может подвести на шаг к решению. Не молчите о том, что болит. А вдруг этот разговор освободит вас?

Впервые за день я не могу ничего ответить, потому что нечего к этому добавить, в этих словах есть все. В них есть все, что способно обнять мою душу. Кроме того я быстро стараюсь сообразить, в каких моих репликах учитель читал между строк. Чего лишнего на мне нарисовало утаенное чувство? С чего он взял, что мне знакомы насилие и угрозы?

# Глеб, 27 лет

Работа мечты высасывает из меня соки, кровь и душу, но я готов просидеть за ней, пока от меня не останется бескровный мешочек костей, потому что если я не сделаю этого, дома на меня, как лавина, обрушатся воспоминания, которые надо отпустить, а это выше моих сил. Суд – второе занятие после спиртного, которое убивает и в то же время помогает двигаться дальше.

Я возвращаюсь в зал под выпад Равшаны «Встать! Суд идет!». Пару недель назад я нашел в столе Степы рисунок. Запомнил на всю жизнь: Равшана погружена в горящую ванну, шея изогнута, голова с приоткрытым ртом откинута, руки свисают по краям, колени чуть выглядывают над поверхностью воды, которая горит огнем, словно место воды заполняет бензин, но Равшане ничуть не больно. Наоборот она в кайфе! Словно упоротая. Что хотел этим сказать Степа? В древние века, как пролечивали в одной книге, ведьм пытались сжигать на кострах, но ведьмы не сгорали, поскольку умели замораживать пламя. В любом случае это было настолько гениально со стороны сына, что я вернул рисунок в стол, не спросив, действительно ли Степа такое умудрился придумать и воплотить. Вполне вероятно, все это было одной из *моих* галлюцинаций. Дети не умеют так рисовать. Потому что даже *мне* воображение подобного не подкидывает.

В зале я вспоминаю суть дела. Глядя в кожаную папку, вспоминаю имена присутствующих. Мне давно пора приложиться к рюмке, ведь сегодня за день я не сделал ни одного глотка, и мне ужасно жарко под черной мантией с манишкой, жарко от одной только мысли, что я в здравом уме, ведь это значит, что любая лишняя мысль не в тему, которая может прокрасться в уязвимую коробку подсознания, отзовется в теле страшной болью.

– Продолжается слушаться дело в отношении Веркеенко Анастасии Викторовны. – Зачитав имя с документа, я чувствую, как то, от чего я прячусь, течет по мне прямо сейчас вместе с капелькой пота по позвоночнику: имя подсудимой со страшной силой напоминает мне другое имя. Почему? Сходство – только в одной первой букве. – Суд выслушал свидетелей со стороны обвинения и рассмотрел предъявленные доказательства вины. Настя, может, дадим тебе слово? Ты не хочешь признаться в совершении преступления?

Видимо, моя внешняя оболочка и мой голос куда приятнее моих душевных внутренностей, она гораздо приятнее мыслей в моей голове, намного лучше моего самого сильного желания. Потому что бледная плачущая девочка меня не боится, я это вижу, она боится не меня, а того, что я скажу в самом конце, но судя по предъявленным мне доказательствам, я не смогу поступить по-другому. Факты говорят против нее. Следствие длилось почти год. Вполне хороший срок убедиться в том, что человека не подставили, что человек – убийца, вину могут смягчить только обстоятельства, но разрушить эту вину не сможет ничто.

*Вина*… она скребет меня изнутри когтями: сильнее всего хочется перегрызть ей горло, но ничего не в силах изменить факт.

Девочка кивает в сторону мачехи, на которую свою вину и сваливает. Это так же просто, как мне свалить любовь из своего сердца в чье-то другое, чтобы она теперь поиздевалась над кем-то другим, а я – отдохну. Вид и поведение у мачехи такие, что руки чешутся посадить именно ее, но никого нельзя посадить за слишком короткую юбку, за татуированную змею на шее, наглый взгляд и закатывающиеся глазки. Подсудимая выглядит скромнее женщины в короткой юбке, год назад у нее были веские причины убить того, кого она убила. Представьте, что человек длительное время клюет вас во все возможные на то места, издевается морально и физически, а потом вас накрывает, вы понимаете, что с этим пора что-то сделать, и…

Потом это приводит к тому, что я наблюдаю сейчас. Насте всего пятнадцать лет. Во время убийства было четырнадцать. Вины не признает. Я прошу адвоката выступить с речью. Уважа-

емый адвокат долго и заумно глаголет, прежде чем вызвать свидетеля защиты, а я за секунду потираю глаза, а затем виски. Мне некуда деть свои дрожащие пальцы. Чтобы скрыть нанесенную на кожу живопись, приходится постоянно контролировать рукава. Со всех сил стараюсь смотреть только на адвоката и сосредоточиться на его словах. Необходимо закончить это быстрее. Иногда время нужно остановить, нажать на паузу и остаться, насколько захочу, а иногда ускорить процесс, особенно судебный, нажать на ускорение и мотать, мотать, мотать до того кадра, где я на дороге, на байке, без шлема на голове, волосы рассыпаются и я лечу…

Язык у адвоката оказывается длиннее, чем шло предварительное следствие по делу, и совсем без костей. Через несколько минут длиною в вечность я слушаю последние реплики обеих сторон, и удаляюсь для принятия решения. В судейской комнате мне кажется, что я начинаю писать «*Альбина*» вместо «Анастасия». Не нужно этого делать. Нужно представить себя, парящим на мотоцикле над земными пробками. А лучше всего забить голову необходимыми статьями на то время, что я здесь, что мне и удается сделать после некоторой очистки своей головы с внутренней стороны. Я знаю, что мне нужно.

Я буду думать о Степе.

Эффект от самых ласковых ощущений в моей душе сказывается на всем, из чего я состою – мое тело, мой мозг начинают работать, мое сердце бьется в самом светлом ритме, кроме того оно растет. Я представляю, как меня обнимают руки Степы, и свет начинает проливаться отовсюду. Я представляю, что не устаю после работы, что готовлю суп, что Степа облизывает ложку и просит добавки, а затем я играю на гитаре, а он – на пианино. Я делаю все это, забыв думать об Альбине, и намного позже дома целую Степу на ночь, ведь я же не напился и не лег спать в семь часов вечера. Обо всем этом я думаю, впуская в свою грудь настоящее солнце. Мне удивительно быстро удается составить текст, как надо, и вернуться в зал для оглашения приговора.

– Оглашается приговор. – Провозглашаю я после рявканья Равшаны «Всем встать!» – Именем Российской Федерации. – Пока я перечисляю номера статей, воздух в зале потрескивается от напряжения. Дойдя до самого страшного, я чувствую, как напряжение в воздухе превращается в горе. – Меру пресечения оставить прежней. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток судом кассационной инстанции. Прошу садиться. – Заканчиваю я, сажусь, и тут на меня напускается старший брат Насти. Он вопит, что горло мне перережет, что у него за спиной две судимости (сразу видно по словарному запасу и наколке на запястье в виде паука, который «ползет» по решетке). Говорит, ему ничего не страшно, его не остановит даже то, что я собой здесь представляю, какое положение занимаю в обществе. То, что он мне, наркоману, как следует отомстит, он орет уже в руках охранников у двери в зал, откуда я приговариваю вынести его и арестовать. Моя рука разболелась ломать стол судейским молотком, потому что шум в зале никак не превращается в тишину.

Я перевожу дух и настраиваюсь на свой комментарий по поводу вынесенного приговора. Сделать это удается с большим трудом. Я досконально ошарашен тем, что этот незнакомый человек знает обо мне что-то личное. Что-то секретное. И опасное для моей карьеры.

# Степа, 9 лет

Из класса Паштет выходит, как из трансформатора – напряженный на двести тысяч вольт, светло-песочные волосы будто попали под растяжку. Чем он недоволен до такой степени, что как будто бы только что вытащил пальцы из розетки? Ответ является передо мной сразу: я замечаю, как строго мой друг описывает глазами скачущую по коридору Кристину, словно у нее по одной пружине на каждой подошве. И я знаю, что последует за этим.

– Посмотрите, как этот Веник полы метет своей юбкой! Наверное, Ковтун попросил ее все коридоры прибрать. И она приклонилась перед Его Величеством! – ехидно подмечает Ярик, а слово «приклонилась» с особым напевом, когда мы оказываемся на достаточном расстоянии от своего класса.

Ребята проносятся мимо, обдавая нас гонимым одеждой ветром (это самый настоящий ветер счастья). Кристина тормозит и поворачивается к нам, ну и мы с Яриком тормозим со скрежетом, иначе врежемся в ее язвительную улыбку, в ее скалящиеся зубы, и попадем в плен ее огненно-рыжих волос, которые у нее ниже талии и полностью всю спину закрывают, как плед. Обычно Кристине заплетают косы, но сегодня она сменила себе имидж.

– Вы только посмотрите на эти патлы – ты что, с электрического стула слез? И меня зовут Кристина, Паштет. – Говорит она предназначенным только для идиотов тоном, для тех идиотов, которые еще слишком малы, чтобы осознать, что они идиоты. – Ты прямо как Буратино – глупенький, наивный и… деревянный!

Не знаю, жалеет ли Кристина о своих гнилых словах сразу или попозже, или она не пожалеет о них никогда, я-то точно жалею сразу, это ведь *мне* приходится обнимать Ярика сзади и удерживать, пока он пытается напасть на Кристинку, чтобы вырвать ей гланды.

– Я тебе покажу деревянного! Сама деревянная! – вопит он при этом, что усложняет мою задачу удержать в нем тигра, потому что когда Ярик орет, он становится сильнее и почти перестает быть тихоней. Мои руки обвивают его мощное тело, как страховочные тросы на каруселях. Думаю, моей страховки надолго не хватит. Паштет сейчас как кабина американской горки, летит неудержимо, то в самый низ, то в самые верха. Дедуля говорит, что я крепыш. Если я – крепыш, то Паштет в таком случае – терминатор.

– Встретимся на Точке. Дохлячок. – Кидает Кристина через плечо и скрывается на лестнице.

Сила в Паштете приумножается, достигает на мгновение красной отметки, но он вдруг успокаивается, бормоча под нос что-то, чего нельзя напечатать в сочинении, но можно написать на заборе перед домом физрука. Говорю ему, чтоб он не парился, Ярик-то знает, что он не дохлячок, а он заливает что-то про нового «классного», который уже не кажется ему таким классным.

– Забудь. Пусть себе глазеет. – Добавляю на улице, где мы вдыхаем летний воздух со сладким вкусом тополей, вспоминая всеобщую любовную сцену по отношению к новому учителю на первом уроке и всех других, когда у девок вместо глаз выросли сердечки. – То есть я согласен, что Веник пыжилась *сильнее* всех, но… Она что, – шепчу я, притискивая плечо к плечу Ярика, – она нравится тебе?

– Нет. Просто бесят такие. Видел ее лицо? Она уверена, что когда ей будет восемнадцать, Дмитрий Валерьевич женится на ней! И она будет Кристина Ковтун.

Мы все еще стоим некоторое время, как сиамские близнецы, сросшиеся плечами, потому что в некотором, но весьма огромном смысле мы близнецы и есть. Мы познакомились во дворе, когда нам было по шесть лет. Весь день прокатались вместе на своих детских великах, после чего я пригласил его на дедулины пирожки. Я тогда решил, что нашел потерянного братика и не отпускал его домой, потому что мне казалось, что он должен со мной жить. Нас идеально

поместили на одну картину! И я задался вопросом, почему новый друг может стать намного ближе, чем родственник? Ярик тоже никуда не собирался, пока за ним его папа не зашел. Он ушел, но при этом остался. Остался навсегда. В тот день-то у нас с Яриком души и срослись.

– Ну что, гулять? – спрашивает Паштет, хотя я не вполне доволен смене темы. Он не хочет домой, мы не из тех, кто запирается дома и сидит за компом. Я, Паштет и наши друзья любим лето и улицу, мы договаривались, что пойдем после уроков скитаться где-нибудь, как бродяги, есть вкуснейшие сосиски в тесте, которые пекут в булочной, что через дорогу, но мне приходится рассказать об изменениях в своих планах.

В ответ на мои слова Ярик отвечает взглядом из той серии, что напустил на Кристину. И молчит. А я его душу изучил как любимую книгу, до последней цитаты, и знаю: если Ярик замолкает, это значит, что окна в его душу закрываются. Еще их при этом заслоняют занавески. Старые такие, поеденные плохими бабочками. Тем не менее, мы жмем друг другу руки, и я смотрю на то, как уходит Ярик, а вместо него ко мне приближается что-то неприметное, некрасивое – то, от чего у меня меняется настроение. Я точно уверен, это вина. Ко мне приходит запоздалая идея: я же мог бы друга и с собой пригласить, а не отфутболивать. Я недалек от выкрика «Стой! Пойдем с нами!», но Ярослав к этому моменту стирается с горизонта. После вины ко мне пристает и стыд. Почти такой же сильный, как в первом классе.

До сих пор помню историю того стыда. Год от года при каждом удобном случае вспоминаю и пронзительно ненавижу «линейку». Никогда еще начало учебного года не могло быть настолько ужаснее, насколько является по натуре.

– Степа, почему с тобой не пришли родители? И как зовут твоего старшего братика? – спросила меня моя первая учительница, косо изучая разрисованные руки папы. Из меня все мысли повылетали, к лицу прилило столько крови, что я даже перестал дышать. Очевидно, рисунки на его теле вышли из-под рук мастера, который в моем возрасте занимался тем, что разрисовывал все свои школьные тетради крестами, черепами, злыми шутами, странными надписями и прочими штуками, выдающими его склонность думать о смерти. Как наперекор отца притащило в тот день в школу вместо дедули, он напялил самую черную футболку в мире с изображением человеческих костей (зачем, если у него свои отовсюду торчат?) и самые свои неряшливые байкерские штаны. Переменный ветер раздувал длинные темные волосы и челку, которая скрывала пол-лица, но не скрывала отпечаток прошлого – его шрам. И позвольте мне промолчать о том, какие грязные на нем были ботинки. Накануне он со своими дружками упражнялся в езде на мотоцикле на каких-то землянистых дорогах загородом. С такими же дружками, как он сам – у которых совсем крышка открутилась, и скудное содержимое головы наружу вытекло. Таков был папа в своем самом благоприятном виде. А когда в ту пору он еще и свой рот раскрывал, в языке у него блестел пирсинг.

– Это мой папа. – Понурившись, ответил я так тихо, чтобы только учительница впитала мое признание, чтоб ужаснулась *только* она, а не ребята, которые толпились неподалеку со своими улыбающимися аккуратненькими родителями.

– Что-что говоришь, не слышу? Как родители оставили тебя наедине с таким хулиганом? Да еще в такой ответственный день! – возмутилась учительница, и я заметил, как она заметила, как папа плюнул жвачку прямо в клумбу с прекрасными школьными цветами, да так громко, так вульгарно, до головы потонув в фиолетовом цвете пофигизма, что звук этот плевком стек по моей душе. Ведь именно так говорит человек, которому по фиг – «мне *фиолетово*».

– Это мой папа.

– Что?

– Это мой папа.

– Я не слышу!

И мне пришлось заорать.

– Это – мой папа!!! – всплеснув руками, я заорал так, что теперь весь класс, все учителя, вся школа, весь город и четыреста близлежащих деревень были в курсе, что этот нехороший пацан, паршивец, неряшливый негодяй – мой *отец* (это слово нельзя было к нему и дрелью пришпилить). Это заполнило мое тело слезами. Минута, и я весь оказался соленый, как будто меня родила русалка и выбросила на берег из глубин моря. Мне хотелось, чтоб это море затянуло меня обратно, но оно лишь пролилось из моих глаз ко мне в ладони. Затем меня кто-то обнял, и мне не нужно было раскрывать глаза, чтобы понять, кто это был. Уж Ярослава-то я даже по запаху узнаю. От него пахнет дружбой.

Сегодня, девятилетний и заметно вытянувшийся в росте (что можно предусмотреть по тому, как уменьшается в моих глазах длина забора), жду появление Принцессы, благодаря чему нечисть в виде жуткого воспоминания выскальзывает из меня. С Принцессой Лали мы познакомились раньше, чем с Паштетом, и дедушка рассказывал мне, как я целовал ее в щеку и все время брал за руку. Таких подробностей я не помню, но верю в них. Это было бы вполне естественно, ведь Лали – самая лучшая. Она единственная на моей памяти, кто выпрыгнул со страниц сказки, и единственная, кто не перестает дышать при виде взрослого мужика – только по той причине, что он красив. У нее-то крышка хорошо закручена, весь ум в голове. Все остальные девочки как сумасшедшие стараются нравиться, но Лали ведет себя естественно, и может задержать дыхание, только когда *я* беру ее за руку. И тогда крышка откручивается у нас обоих.

Мы никогда не целовались в губы, но летом я застал отца, целующего судебную секретаршу Равшану прямо у нас квартире. Начнем с того, что само ее появление на нашей с папой территории не внушило мне оптимизм. Я дико испугался, что папа перестал использовать ее исключительно как подстилку (слово, подкинутое дедулей) и уже решил жениться! Не приведи бог, поскольку ночью я срежу два метра ее длиннющих и чернющих волос-змей, чтобы сделать себе веревку. Второе, что пошатнуло мою психику, это Равшанин видок в тот момент, когда она появилась в коридоре, выйдя из ванны. «Папа! Звони о2! У нас в доме мумия Тутанхамона!» – хотелось заорать мне, но на деле я подавился всеми возможными репликами, не в силах с помощью них передать всего ужаса, который парализовал мое тело. Рот мой был раскрыт так широко, что, я уверен, напоминал пещеру тролля. Из ванны в клубах пара (словно там стены горели) на меня надвигалось нечто с обмотанной полотенцем головой, из-под которого торчали мокрые черные змеи, в прозрачном халате, через который все можно разглядеть, но я не разглядывал. Мой взгляд приковала голова с белой тканевой маской на морде, которая, смоченная в каком-то креме, собравшись складками, напоминала забинтованную голову мертвеца. Или щуку под майонезом. Есть такое блюдо – тощая рыбешка в чем-то белом. Но это была только первая часть фильма ужасов, который предназначался не для детских глаз. Затем случился этот леденящий душу поцелуй, только на Равшане уже бинтов не было – ровно, как халата. Отец забыл закрыть дверь и целовал ее так, что в этот момент не ее волосы, а его язык был змеей, которая ползала по ее глотке. В тот день я пытался нарисовать маму, лежащую на песке, но получилась ведьма Равшана в ванне.

Сейчас я стою и думаю, что если все взрослые так целуются, то я хочу, чтоб мы с Принцессой Лали остались детьми навсегда. Откусывать от нее куски я вовсе не намерен.

Из школы выходит Принцесса Лали, и я подавляю дрожь в руках. Более того прячу руки в карманы спортивных штанов, за которые меня на втором уроке разнес Дмитрий Валерьевич – нельзя появляться в школе в таком виде, если это не урок физкультуры. Мои руки одержимы желанием потрогать русые кудряшки Лали, которые водопадом спускаются на ее кремовые плечи, поэтому пусть поживут в моих карманах. У нее совершенно неземные кудряшки, свои собственные, аккуратные, как у новой куколки.

– Ты, все-таки, сегодня хорошо себя повел на последних уроках. Учитель решил, что ты не такой уж злодей. И правильно сделал. – Слово «злодей» из уст Принцессы Лали выплы-

вает как слово «любимый», и все свои предложения в целом она произносит как комплимент. А может, я выдумываю все это. На всякий случай потираю уши, но взгляд от Лали не отвожу. Я так люблю на нее смотреть, что смотрю на нее, даже когда она исчезает. Все художники зависимы от красоты, и я. Но особенно от Лали. Даже если больше не художник. От зависимостей надо избавляться, а от Лали нельзя – это так же легко, как вызволить из розового белый и красный, когда уже смешал эти цвета вместе.

А что для *нее* красота?

– Тебе тоже нравится Дмитрий Валерьевич? – задаю наболевший вопрос, внимательно всматриваясь к белому медвежонку на заколке, придерживающей прядку волос у подруги на голове, типа спрашиваю именно его – так проще.

– Он хорош. – Отвечает Лали, и во мне что-то большое и учащенно бьющееся превращается в осколок льда.

– Ты прямо как все девки… – надуваюсь, словно шар, произнося это вранье, и надеясь, что претензия звучит правдоподобно. – Стоит появиться на горизонте очередному мужику в этом стиле, и вы все готовы забыть, даже имена свои.

– Но ты ведь лучше него. – Добавляет Лали, и по ее голосу я слышу, что более правдиво она высказаться просто постеснялась, а зря. Пусть *скажет*, что я лучше *всех!* Пусть стоит и думает, что я из сказки, и что приехал в тот садик на белом коне, а не в дедушкиной машине с папой, слушая кроме русского рока матерный реп и молясь всю дорогу. Больше всего мне нравилось ездить с папой с заткнутыми колонками, когда он не спешил и даже болтал со мной по дороге. И когда мы играли в игру «Угадай, чего бы мне хотелось прямо сейчас». К сожалению, так было не каждый день.

– В Страну чудес? – стряхнув мысль, я просто протягиваю ей руку.

– А это далеко? – спрашивает Лали, но мою руку принимает.

– Это повсюду. – Отвечаю я, потому что когда мы беремся за руки, именно так и происходит в мире.

Мы берем в булочной по сосиске в тесте, по коробочке сока, идем через лес к бухте, но не спускаемся к морю. Со склона, на котором мы приземляемся, найдя наиболее мягкую траву, видно как будто все море на планете – и оно похоже на огромное синее футбольное поле, ведь сегодня даже волн нет. Песочный берег заняли люди, отхватывая последние теплые деньки для купания, но мы не смотрим вниз. А смотрим на горизонт, который рисует перед нами море и небо. Между ними идеально ровная разделительная черта и я не могу решить, море ли глубже неба, или же небо бесконечнее моря.

– Я боюсь клещей. – Признается Лали.

– Не бойся. Когда вернемся, я тебя везде обсмотрю. Особенно там, куда они обычно любят садиться, на всякие самые мягкие места. – Мне еще никогда так не нравились собственные идеи.

Мы съедаем свои сосиски. Я смотрю не на воду, а на Принцессу Лали. Ветер дует в мою сторону, и ее волосы щекочут мои щеки. Если бы запах можно было нарисовать, мне бы понадобилось много пастельных оттенков. Я знаком с Лали так давно, что знаю о моменте знакомства только по рассказам родителей. Они помнят, как я и Лали впервые оказались в одной комнате, как впервые взялись за руку, как я поцеловал ее щеку. Я завидую родителям и хочу украсть у них наши воспоминания.

– Знаю, тебе нравится, когда я на тебя смотрю. – Говорю, напрашиваясь на разговор о нас, когда сам уже превратился в этот ветер, треплющий ее волосы, и превратился в золотой свет солнца, лежащий на ее щеках. Я стрекоза, припарковавшаяся на ее маленьком плечике. Я цвет. Я – целое море цвета. В ее глазах. Мир настолько велик для нас, что я бы согласился прожить с Лали в руковичке.

– Нравится. И когда держишь за руку – нравится.

– И когда кидаю настоящие бумажные записки, нравится?

– Да. Особенно рисунок того зайца в шляпе, в почтовом ящике.

Тут мне приходит идея. Если Лали нравятся мои открытки, которые я рисую исключительно для нее, и которые потом забрасываю в ее ящик, то, возможно…

– Тогда давай поженимся после школы. – Мое предложение вполне серьезно. Я не дам этим чувствам «повзрослеть». Не дам им ускользнуть, как мяч за пределы поля. Им от нас не убежать. Я свяжу чувствам ноги и запихну в наши рюкзаки, чтобы они всегда были с нами. А рисунки смогу подкладывать ей прямо под подушку, если она скажет мне «да».

– Давай! – улыбается Лали. Все зубы ровные, а кудряшки шевелятся, потому что она поворачивает ко мне голову.

Через несколько минут мы падаем в траву и исчезаем в ней, как божьи коровки, потому что когда она поворачивает ко мне лицо, я на секунду прижимаюсь к ее губам. Отстраняюсь посмотреть, не испугалась ли она, и повторяю. А потом еще раз. Я целую несколько раз, поразному наклоняя голову. Поначалу ее губы почти не шевелятся, но глаза закрыты. Следующей меня целует Лали. Она повторяет мои действия, а потом вдруг пихает нас на спины, и я вижу солнце. И небо. Но не только наверху. Все это небо оказалось прямо во мне. Через секунду чувствую, что и солнце небу больше не принадлежит. Это солнце проглотил кто-то другой. Наверное, Лали. Вся светится. Точно, она.

Включаю фронтальную камеру на своем смартфоне, и Лали снова улыбается, увидев на экране нас, лежащих в траве. У меня появилась идея соединить это фото с фотографией с нашей свадьбы. Сделаю коллаж. Мы будем смотреть на него, и сравнивать, как сильно изменились. От моей идеи Лали смеется, но в ее смехе мне слышно не что иное, как довольство.

– Я увидел, как это делает отец с женщиной.

– Фотографируется?

– Целуется. Не так, конечно. То, как *они* целуются – просто абзац. – Это *наш* поцелуй был самым лучшим и его впору наградить грамотой, думаю я. Иногда мне *удается* оставить то, о чем думаю, только в мыслях.

– А я видела на записи со свадьбы, как мои родители целуются. Не понравилось.

– Ты заметила, что взрослым нравятся всякие глупости? Они едят невкусную еду и пьют ну совершенно отвратительное на вкус спиртное. Я попробовал водку в три годика. У папы и мамы были гости. Они все пили. Затем все ушли курить и оставили на столе стаканы, а я так хотел пить! Я думал, это вода. Я сделал большой глоток и начал задыхаться. А потом меня стошнило. Мне даже вызвали «скорую». С тех пор папа ненавидел маминых гостей и никого не впускал в дом. Странно, ведь его друзья были ничем не лучше. Кого сейчас в дом нельзя впускать – так это Равшану. Она – само зло.

– Тебе надо поговорить с папой.

– Чтобы он с ней расстался? Лучше тебе не знать, куда он меня после этого пошлет! Мужчинами мальчики из таких мест не возвращаются. – Говорю я, но быстро забываю, потому что, первое: Лали меня не понимает, и второе: потому что каждый уголок тела слишком занят освоением моего счастья. Оно такое большое, что ему приходится разрабатывать целую стратегию полностью поместиться в детском тельце.

Домой я возвращаюсь, таща за собой воображаемую тележку с чувствами сильными и настоящими, совсем не воображаемыми – иначе, почему ногам так тяжело? И почему так трудно пройти через двери? Теперь они для меня слишком малы. Когда такое случилось? Мне хочется выпрыгнуть из тела и полететь туда, откуда пришел, смотреть на море и корабли, издалека которые кажутся игрушечными, будто это мы с Лали опустили их на поверхность воды. Хочу продолжать смотреть на эту воду, держа за руку Принцессу Лали. Дома мое тело просто

окаменело. Я вспоминаю, как переодевал здесь утром свои шиворот-навыворот надетые штаны и футболку. Вспоминаю нелепую возню, которая словно случилась в какой-то другой жизни какого-то другого мальчика, но не этого нового, чье тело так не хочет возвращаться из Страны чудес в суровую реальность с ощущением пола под ногами, что продолжает наливаться сопротивлением и тяжестью. И я думаю, все это вовсе не из-за дальнего расстояния, преодоленного мной с Лали через лес. Я и дальше ходить могу, и ноги у меня обычно не гудят.

Я не замечаю, как после прихода домой ужинаю, принимаю душ, переодеваюсь и разгребаю школьную сумку. За стеной до меня доносятся шорохи, шаги, стоны, и тогда я вспоминаю о существовании отца, но общаться с ним пока не могу. Не могу даже читать и играть на пианино. Мое единственное желание – завалиться в кровать. На кровати, чуть прейдя в сознание после произошедшего на склоне, я вспоминаю, что у меня есть Ярик, и он обижен, как оставленный в тепле салат, потому что ему дали пропасть. Знаю, глупо сравнивать лучшего друга с салатом, но я всего лишь надеюсь, что сейчас он не выглядит также ужасно, как выглядят уставшие размякшие помидоры. Ведь Ярика сегодня отфутболил друг – раз; этот самый друг я – два; а девчонка, которая ему нравится, назвала его дохлячком – три. Наши на Точке не собирались, все разъехались по морям со своими предками, поэтому, думаю, бедному Паштету пришлось идти домой и чисто из отчаяния делать уроки.

Набираю номер друга, чтобы извиниться за эти три обстоятельства, которые заставили его обидеться, хотя Кристину я не заставлял обзывать Ярослава деревянным Буратино. Уж я-то не понаслышке знаю, что Паштет не деревянный. Если *он* – деревянный, то и я – дуб.

Потому что у нас почти все общее. Мы дышим в унисон. Орем одним голосом, когда несемся зимой с горок. Вместе задуваем свечи. У нас есть особенные места, которым мы дали необычные названия. Например, Точка. Или маленькая полянка в нашем лесу, где стоит наше любимое дерево. Мы назвали его Выжившее. Толстый ствол этого дерева при каких-то обстоятельствах страшно обгорел еще до нашего рождения, образуя в дереве не то что дыру, а пещеру с черными стенами и отверстием посередине стены. Я могу войти в эту «пещеру» в полный рост, и еще над головой пара сантиметров останется, но дерево при этом все равно цветет!

Я просто *обожаю* необычные явления природы, как вот это дерево. Замираю перед каждым ударом молнии, золотым лучом солнца через мрачные тучи, радугой, и небом, взорвавшимся тысячами красок после дождя. В этом есть такая мистическая, неуловимая, почти необъяснимая красота! Я не могу не заметить таких вещей вокруг себя и готов останавливаться перед каждой лужей в форме сердца, муравейником с трудолюбивыми муравьями и деревьями вроде этого. А также не могу устоять перед красочным осенним листиком, шишкой и желудем (последнего в нашем лесу полно), я обязательно тащу это богатство домой, чтобы что-нибудь потом с этим сделать на трудах, но сначала мне надо сфотать, чтобы запомнить красоту в изначальном виде. Как одну радугу, когда мы играли на Точке. Это случилось в прошлом году. Такой яркой люди нигде не видели! Она настолько была цветная, что все остальное против нее казалось черно-белым. Я заметил ее последним, очень странно, потому что завязывал шнурки, но потом все ребята разом потянули меня за рукава, чтобы я обязательно успел посмотреть на разноцветное коромысло. И мы окоченели вместе. Я забыл не только о шнурках, обо всем, что надето на мне и как именно это выглядит, я был не в состоянии одеться без нелепой возни целую неделю после этого зрелища. И еще долго не мог отклеить с пола челюсть, потому что радуга была нарисована на небе ядовито-яркой гуашью. В этом заключалась пугающая в некотором смысле красота, ибо радуга казалась реальной, как трава или машина. И мы впитывали ее до победного, пока радугу не начало впитывать небо, пока оно ее не проглотило. После этого возникло чувство, что красок во мне через край, я даже не смог продолжить нормально играть в футбол, едва не падая на каждом шагу, как будто эту радугу проглотил я.

Но мое самое любимое природное художество даже после такой радуги – Выжившее дерево. Это картина в стиле трагизм, ведь дерево горело. Я просто не мог пройти мимо, чтобы не впитать красоту, такую загадочную и страшную.

– Смотри, – сказал я тогда Ярику, уже видя, как нарисую это у себя в альбоме. – Надо же. С такой раной, а живет. Паштет, если дерево выживает с такой раной, то и у людей все получится? Правда?

Ответом мне было неоднозначное «эммм», но я всегда был тихо благодарен Ярику за его способность терпеть во мне этого лунатика, в которого я превращаюсь временами.

За стеной моей комнаты, одетой в космические обои с планетами, отец тяжело слезает с кровати, не подозревая, что вырывает меня из одного из самых интересных воспоминаний. По решительным шагам определяю, что он не настолько пьян, как первого сентября после работы и вечеринки дома у Мумии Правосудия. Видимо, он расслышал наш с другом смех. По сути, конечно, только мой, но факт в том, что он понял, что я дома, что я пришел поздно, и теперь он решил по этому поводу высыпать на меня камней. А я ненавижу ссориться с папой. Не открываю до талого (как он сам выражается), пока он не начинает рявкать:

– Откроешь или мне тут дверь с петель снять?

Я приоткрываю на несколько сантиметров; делаю вид, что я енот.

– О! А я ничего не слышал! С Паштетом по телефону разговаривал.

– Хватит врать, дебил.

– Один дебил происходит от другого дебила. – Говорю вперед мысли, и едва не получаю тумака. Папа угрожающе замахивается, но не бьет. На этот раз – нет.

– Впустишь? – папин выдох напоминает шипение змеи, и я вспоминаю, что его язык змея и есть. Сейчас он изо рта Равшаны перекочевал домой, в папин рот. И разговаривает со мной таким тоном, что я заражаюсь и отзываюсь аналогично.

– Что тебе в моей комнате надо?

Отец меняет раздраженное лицо на злое и пинает мою дверь, будто это футбольный мяч.

Дверь – нараспашку. Я – на полу. Папа входит в комнату, внося с собой эти слова:

– Меня бесят баррикады и дистанции, которые ты возвел между нами.

*Я* возвел??? Ну да, когда мы с дедулей делали в моей комнате ремонт, я попросил его не только эти невероятные обои с космосом, но и поставить мне дверь с замком, однако *никогда и никого* в жизни я не просил, чтоб папа держался подальше. Как дать понять, что нас разделяют не двери, а Равшана и их пьяные вечеринки? И бутылки с водкой, без которых папа жить не может, тоже разделяют нас? Почему? Почему он пьет? Почему мы не ходим в пиццерию, как раньше? Почему не играем на инструментах? Не рисуем? Не строим замок? Почему этого больше нет в нашей жизни? Она не остановилась с тех пор, как мама ушла к своему чуваку! Все это мне хочется донести до самого сердца папы, но в самые ответственные моменты не язык, а слова оказываются предателями, потому что никак не складываются в предложения. Чего я действительно не хотел говорить, так это «что тебе надо в комнате», но я сказал.

– Где ты был? Уже *семь* вечера! – трещит папа, словно это три часа ночи, помогая мне подняться.

– С Лали гулял. – Отвечаю сквозь зубы, потому что, падая, больно ударил зад и сейчас занят тем, что растираю ушиб ладонями.

– Врешь. Опять на Точке не понять чем занимались.

– Да не курил я, не курил! – мои руки рассекают воздух, а в доказательство своих слов я резко выдыхаю отцу в лицо, выдыхаю с такой силой, что у него шевелятся пряди прямых черных волос. – И мы играем в футбол на Точке, понял? Это такое футбольное поле во дворе у Макса Ноева. – Я вижу, как папа морщит нос, принюхиваясь. Наш футбол его не впечатляет, тогда что? От меня пахнет детскими девчачьими духами? Папа криво ухмыляется, от чего меняется линия его шрама, и садится на мою кровать. Точно, учуял девчоночий запах. Маньяк.

– Что у тебя с этой девочкой? – он снова меняет лицо, на этот раз оно лукавое. Папа превращается в папу. Вот только я слегка вышел из себя.

– Любопытство сгубило кота. Помнишь?

– Спрашиваю еще раз, что у тебя с девочкой. – Настаивает он «тут вопросы задаю я» тоном, будто судит нас с Лали по себе и своей подружке. Или будто это допрос в этом, как там говорил дедуля… в следственном комитете!

– Ничего того, что у тебя с Судебной Горгульей.

– Хватит валять дурака. Смотрю ты ранний, прям как… твоя мамаша. – Он произносит это слово так, будто оно поедено молью. Ровный шрам становится зигзагообразным. – Та тоже с тринадцати лет спала с мальчиками. Она мне рассказывала, да в ней это и без слов проступало.

– Я не собираюсь с тринадцати лет спать с мальчиками. – Уверенно говорю я, и зигзаг у папы в лице становится линией, настолько ужас смывает с него все выражения, хотя я сказал ведь, что НЕ собираюсь.

– Ты давно уже с ней не виделся? Как она выглядит? Такая же бомба, как и была?

Не понимаю, почему он спрашивает. Если бы мама ответила на мой звонок, он бы первый узнал. Если бы она ответила на мое письмо, он бы первый узнал об этом. И вообще весь мир бы узнал. При мамином ответе на мое письмо я бы так громко заорал «Ура!», что в нашем лесу поразлетались бы дятлы, теряя от страха перья.

– Она самая красивая. – Я желаю, чтоб это отпечаталось в его голове, как имя в паспорте. – И ты обещал ее не оскорблять.

– Прости. Как день прошел в школе? Учительница новая, или та же?

– Нас будет вести мужчина. Дмитрий Валерьевич зовут. Горяч *настолько*, что все наши Снегурки в классе растаяли. Пацанам пришлось из класса *выплывать*, а не выходить. Даже отличница сегодня свои косы ради него распустила. И Кристинка.

– Ну, с этой кокеткой все понятно. Мужчина, говоришь. – Папа смакует слова и щурится. Это выдает его любопытство. В остальном его глаза почти всегда раскрыты хорошо, и их черный цвет меня гипнотизирует. – О, как! Кроме физрука мужиков у вас еще не было. Что задал?

– Немного. Пару номеров по математике и пересказать биографию Тютчева по чтению. – Не знаю, как я вспомнил домашку, если вообще вспомнил ее всю, учитывая, что мое сознание полностью заполнено поцелуями с Лали, но выполнить эту домашку я в таких условиях не смогу совершенно точно. Дмитрий Валерьевич завтра снова на мне оторвется, но сейчас мне нет до этого никакого дела. Может, это я на нем оторвусь.

– Сейчас поужинаем, и ты сразу сядешь за уроки, а я проверю.

– Да, если не отрубишься.

Папа не слышал, что я ему ответил. За столом он опрокидывает рюмку и наливает следующую. Готовит он просто замечательно, но, к сожалению, только когда в хорошем настроении. Сегодня настроение у него серое, недосоленное и *никакое*, судя по супу с… курицей!

Меня сотрясает от боли и отвращения! Курица, в этом супе курица! Настоящая курочка! Которая когда-то была живой!

Больше не могу молчать.

– Фу! Ну и гадость! Что это за суп? Где я? В детском доме? Или еще хуже, в колонии для несовершеннолетних? Не буду. – Отодвигаю от себя тарелку с мертвой курицей. – Кроме того в этом супе труп.

– Какой труп? – отзывается папа с таким лицом, будто я сказал ему, что я – белый медведь, и с утра мне необходимо прибыть на север. Он на меня смотрит как на пациента психиатрической клиники. – Не придуривайся и ешь. – Выплевывает он в итоге. У него так хорошо

это получается в ситуациях, когда со мной ему общаться совсем не хочется – он берет и просто отплевывается от меня.

– Папа! Я сто раз говорил, что я вегетарианец!

– Съедай то, что я буду подавать, вегетарианец. Я сегодня был не в состоянии ездить по магазинам, – ворчит отец, шумно роняя ложку. Этот звук трезвонит у меня в голове. – Прости. Я сегодня… девочку в тюрьму посадил.

Меня папина деятельность вовсе не пугает, меня нет в зале его суда, но для папы его работа пока в новинку, он занял самую ответственную должность, и я подозреваю, что он не научился выносить ее морально, даже если внешне его оболочка выглядит суровее, чем морда у грузовика. Почему он может быть полон сил для других, пока внутри у него все трескается и ломается?

– Сколько дал?

– Четыре года. Учитывая то, что ей нет восемнадцати и это первое ее преступление, наименьший срок за умышленное убийство делится ровно наполовину. Взрослому я за это должен был дать восемь лет, а ей дал всего четыре. Адвокат пытался преподнести ее действия как последствие аффекта. Но это кино ни о чем. Она убила посреди ночи, когда ничего не произошло. А значит, планировала преступление. Да, над ней издевались, но у нее был шанс обратиться в полицию или органы опеки.

– Кого она убила?

– Своего отца.

– Понимаю… – не подумав, ляпаю я, но от взгляда папы беру ложку и съедаю всю свою порцию «убийственного» супа. – А можно узнать, как она это сделала?

– Ударила его по горлу топором, пока он спал. – Говорит отец, и мой суп чуть не льется обратно в тарелку. По-настоящему я думаю, что он шутит, преувеличивая факты, но по его окаменевшей коже вижу, что это правда. Он опрокидывает вторую рюмку, задержав дыхание.

Мне физически больно смотреть на то, как папа пьет. Закусив лимонной долькой, он гладит мои волосы, потому что я не смог спрятать от его глаз свою тоску. В своих чувствах я – это всегда я. Если мне плохо, именно это вы и увидите в моем лице. Если хорошо – то увидите именно это. И уж держитесь подальше, когда я в игривом настроении, когда у меня крышка начинает откручиваться. Мне в таких моментах и бомбочки не нужны, в таких моментах бомбочкой я становлюсь сам.

– Прости меня. Я исправлюсь, увидишь. Папа просто сильно устает, потому что… – сглотнуть ему дается так сложно, как будто у него болит горло. – У меня новая должность, в которой я должен чуток поднажать, ты понимаешь?

– Скажи мне это, когда без пойла заснуть не сможешь.

– Не дерзи и не умничай, щегол. Перья вырву!

– А я все дедуле расскажу.

– Добиваешься моей смерти?

– Цепляюсь за свою жизнь.

– Не важно. Еще один иск против меня, и я дедулю на порог не пущу, а ты, засранец, из дома не вылезешь. Я тебе покажу Точку! Дома будешь сидеть на своей толстой пятой точке, понятно? И суп будешь есть, как миленький. Пожалуешься у меня, что там мертвая курица плавает. Да, мертвая, черт возьми! Мертвая. А ты представь, какого было бы есть суп, в котором плещется живая курица!

– Приговор может быть обжалован. В том числе насчет *толстой* пятой точки.

– С дедулей? Кто б сомневался. Его больше любишь, чем меня, да? Ха, конечно же. Когда речь заходит о его любимом внучке, он весь растекается мёдом. Однозначно по его только вине ты смеешь мне хамить.

– По его «вине» меня не заметили органы опеки. По его «вине» никто не узнал, что я побывал в центре ваших пьяных вечеринок. Подтверди, что я чудом остался в этой семейке жить.

– Не мни папе душу, иначе чудом останешься с зубами. Это не так. И мы о другом говорим. Твой дедуля давно подорвал перед тобою мой авторитет.

– Все это художественные выдумки. Ты ему просто завидуешь, потому что он секси. Как и наш новый дрессировщик.

Даже глядя в свою чашку с чаем, я каким-то образом вижу, как из глаз отца в меня летят молнии, и я переделываю фразу: классный руководитель. Но тут же узнаю, что сердит отца на самом деле.

– Значит, я уже не секси?

– Ты еще круче, пап. – Пряча смех во рту, отвечаю я. Удается мне это так же хорошо, как спрятать там же грецкий орех в скорлупе. Как ни прячь, но смех меняет мой голос. Он становится низкий, как у девятиклассника.

Еще минуту мы молча превращаем в ничто наши бутерброды, и это единственное, что сегодня вкусно, ведь хлеб пекла фабрика, а не папа. И овощи росли без его взгляда-тайфуна. Сыр тоже делал кто-то другой. Масло, со слов упаковки, готовила какая-то «Боярушка». А папа ничего вкусного не приготовил. Его мрачное настроение погребает в нем отличнейшего кулинара. Кровь моего папы смешанная, его мама была русская, а его папа (мой любимый дедуля) башкир, оттого-то мы с папой такие темноволосые и черноглазые, и если верить словам дедули, восточный тип мужчин не только «самый горячий в мире», в таких мужчинах к тому же «генетически заложена способность к кулинарии». Сейчас я во все это не верю – сегодня папа холодный и бездарный. Я не знаю, кому еще написать письмо кроме мамы – может, Богу, или дьяволу, или просто в пустоту (возможно, именно она и похитила моего папу), с просьбой освободить. Тут я говорю то, что не только думаю, но и действительно хочу вынести в мир. Так же сильно и честно, как люблю его. Цепляюсь за надежду, что он может меня слышать – обычно папа выглядит так, словно он в настоящее время в обмороке.

– Я тебя теряю. – Решаю, пусть эта фраза немного повисит в тишине, чтоб папа прислушался. – Медленно. Это как отдирать пластырь с ранки. Чем медленнее, тем больнее. Маму я уже потерял и никак не могу вернуть. Сделай что-нибудь со своей работой, чтоб она между нами не стояла.

– Это как? Уволиться, что ли?

– Я хочу, чтоб мы были вместе. Когда ты был *помощником* судьи, у нас было время, чтобы на пианино играть и остальное.

– Хочешь поиграть на пианино – иди, играй! Играй хоть до ночи, но не указывай, кем мне работать! У меня одна жизнь, и я делаю то, о чем мечтал. Я прошел темный лес, проверку, экзамен, конкурс, я столько ночей не досыпал, как переживал, чтоб выбрали меня! Чтоб та клиника оправдала свою анонимность. Если хоть кто-нибудь узнает, от чего я лечился… Эта работа дает нам высочайшие преимущества.

– Какие же?

– Неприкосновенность. Безопасность. – (Гениально. Неужели папа уверен, что нам на голову не может упасть кирпич? Или мы не сможем в яму провалиться? Или нас ограбить не смогут из-за того, что он прикрывает татуировки-рукава черными рукавами мантии?) – Я стал зарабатывать больше денег! Это нужно нашей семье, как тебе объяснить?

– Наша семья разваливается. Никакая неприкосновенность не может остановить обрушение семейного гнезда.

– Из-за твоей мамаши! Перестань писать ей письма. Я тебе повторял сто раз: она не мать, не жена, не женщина, и вообще никто. Кто тебя растил? Я один! Эта экстремистка на мать похожа не была. И мне плевать на нее.

– Мне – нет. И что такое «экстремистка»?

– У тебя есть Бестолковый словарь. – У папы становится такой вид, словно ему стало плохо из-за собственного супа. Он воткнул мне нож в спину, а теперь хочет вытащить его, что ли. – Прости. Маму в семью мы не вернем. Не смогли мы ее сюда затащить, даже когда проживали вместе. Когда я разогнал нашу банду, она ушла тусить в другие. А потом ей повезло встретить мужика без пристрастий и темного прошлого, и ее как подменили. Тем не менее, она не вернулась к тебе. Она испарилась с концами. Но я-то здесь и не собираюсь уходить.

– У моего одноклассника так говорил отец, а потом развелся, и не только с его мамой.

– Не знаю, почему некоторые так поступают. Я – не представляю своей жизни без тебя. – Расширив глаза и развернув ладони, папа своей мимикой словно показывает весь масштаб своей любви, а также непонимания, как люди уходят от своих детей.

Я так больше не могу. Отец говорит красиво и искренне, но я знаю, что за этими словами не последует игра на пианино, и поездка на море, и вылазка в пиццерию. *Ничего*. Ничего из того, что позволило бы нам не просто знать, что мы любим друг друга, но и пользоваться своей любовью. Вкладывать ее в свое общение, в свои прогулки и чаепития, чтобы жить. Ведь именно ради этого живут люди? Ради любви. Раньше мы были лучшими друзьями, а сейчас я думаю, что же проглотить легче – папу или его отвратительный суп?

Помыв посуду, ухожу в комнату, сваливаюсь на кровать, закрываю глаза и в пространстве подсознания ищу того папу, который был у меня раньше. Зачем он всему положил конец? Папа повсюду в моей душе, живет там, как и Принцесса Лали. Может, он еще раз все обдумает и вернется? Я беру с тумбочки наше фото в рамке, когда слышатся шаги. Ко мне заходит папа, но не тот, которого я хочу видеть, я прячу рамку, чтобы не смотреть на нас при нем, а он крякает что-то по поводу учителя. Спрашивает, знает ли он, как до него дозвониться, если что. Мне нужно разбить о папину голову какой-нибудь ларек.

*Я хочу, чтобы ты пригласил меня в кино! Я хочу, чтобы ты научил меня кидать камешки по поверхности моря. Мне хочется сыграть в четыре руки на пианино. Я всего хочу вместе с тобой!*

Когда папа уходит, во мне загорается лампочка. Я даже подпрыгиваю на кровати. Вспоминаю, как Дмитрий Валерьевич уверял нас, что мы теперь одна семья. Может, хоть член моей *школьной* семьи поможет нам с папой быть вместе без стен? Может, Дмитрий Валерьевич сможет напомнить моему отцу то, что я существую? Знаю. Мне надо столкнуть этих двоих для разговора! Зря я дал учителю неверные номера. Мне казалось, *всем* учителям нельзя доверять, но что-то в словах новенького внушило мне надежду на обратное.

По тишине я определяю, что папа уснул, потому что даже когда я прижимаюсь к стене с чашкой вместо уха, то ничего не слышу. Стараюсь идти на пальцах чисто по привычке, ведь когда мой папа пьяный, вокруг него вырастают стены такой толщины, что мне можно стучать молотком, он все равно не услышит. Мой папа спит. После нашего ужина он выпил еще. По бутылке могу определить, насколько больше. Я вытаскиваю из его руки бутылку, а остатки сливаю в раковину, прежде чем вернуться – поцеловать папу и накрыть его пледом. Пианино стоит в его комнате с закрытой крышкой, и молчит. Ничего. Ничего.

Ничего. Я спасу нашу музыку. Спасу папу. И спасу нас. Мы связаны вместе навсегда. Мы как дольки из одного мандарина. Никого нет дороже, чем папа. И я его обязательно вытащу из бездны, что бы она собой ни представляла – я пройду в самую ее глубь, вокруг меня будут хихикать черти, но я их не испугаюсь, потому что буду идти за папой. Он увидит свет белый и сможет жить счастливо, как Выжившее дерево, с любой раной. И тогда стены между нами исчезнут.

Наутро после нелепой возни отец, лавируя по дорогам как сумасшедший, подвозит меня на мотоцикле прямо до крыльца, наделав много шумихи не только ревом двигателя, но и своим

общим видом, и все вокруг оглядываются на нас, изумленно вздыхая и забывая тему разговоров. Уезжает он не менее впечатляюще, прижавшись на повороте боком мотоцикла к земле и обдав каких-то людей облаком пыли – такова папина экстремальная возня, поскольку он опаздывал на работу.

А я не выспался. Вечером я сперва написал письмо маме, но это не заняло так много времени, как работа над картиной, которую я пишу о папе и его Мертвой Принцессе. Вы правильно поняли, я сдался. Пока я не знаю, как выглядит его Принцесса, и делаю наброски, вынимая образ лишь из папиных рассказов. Люблю слушать его воспоминания об Альбине. Папа рассказывает мне, как они познакомились, как он начинал ухаживать, как поначалу они друг друга стеснялись, а потом целовались на склоне – там же, где были мы с Лали, но не только там. Папа так нежно и восторженно говорит о том, каково было любить Альбину, что меня пронзает иглой ревности. Прошло десять лет, а папа произносит «мы с Альбиной сходили…», «наши руки нашли друг друга» и «мы не могли оторваться от поцелуев» так, словно они ходили, держались за руки и целовались вчера вечером, и вот он только что вернулся со свидания, а каждая клеточка его мозга заполнена тем, что у него было с девушкой. Его первая школьная любовь значит для папы целый мир. Он застрял в нем, не зная, что мир настоящий тоже освещен солнцем, но папу не вытащить и не переубедить. Иногда мне страшно, что тот мир больше, чем который в его сердце могу занять один я. Меня терзают неоднозначные чувства. Я хочу, чтоб папа был счастлив, а для этого ему нужна живая девушка, которую он полюбил бы еще сильнее Альбины; с другой стороны я хочу, чтоб папа был только мой. Мне будет тяжело делить его с женщиной. С Равшаной-то я точно не собираюсь его делить. От Щуки Под Майонезом пора сочинить избавляющее заклинание, но об этом позже. Папа ее не любит, и это приятно. Но чем приятен факт его не проходящей любви к мертвой девчонке?

Может, моя картина утешит его? Ведь по факту их любовь была счастливой. И Альбина погибла, любя папу. Между ними не случилось ничего тяжелого. Папа должен посмотреть на это со стороны. Когда-нибудь моя работа станет достаточно хороша для того, чтоб подарить ее отцу и, если повезет, к картине будет прилагаться целая серия рисунков о нашей жизни – чтоб папа увидел, какая интересная штука жизнь даже без Альбины.

Моя ручка отказывается писать. В смысле, она заполнена чернилами, но после бессонной ночи мне не удается решать примеры самостоятельно. Я разобранный велик на простыни в гараже. И пока меня не соберут, никуда я не поеду. Умный одноклассник стоит у доски, а я пытаюсь списать его решение. Ведь Макс Ноев (также известный как Ковчег) не ошибается никогда. Математику он просто обожает, для него это как игра, в которой ему нет равных. Он решает и чуть ли не подпевает от счастья. Решатель примеров, уровень: Бог. Именно так я рисую Макса, решающего примеры – с крыльями за спиной и нимбом вокруг головы, а написанные им цифры вылетают с доски и плавают в воздухе по классу.

Дмитрий Валерьевич заканчивает проверять домашнее задание у каждого, как и обещал, после чего слушает, как Максим комментирует способы решения уравнения. Учитель щурится над своими записями, изредка разбавляя комментарии Макса своими «угу» и поправляя на носу большие очки, потому что они съезжают к кончику носа. Лицо его сосредоточенно, между бровей пролегла глубокая морщинка, а я с первой парты чую, какими духами он сегодня обдал свою новую шикарную рубашечку. Бедная Кристина способна решать математику не больше моего, она сидит, втягивает в себя ошеломительный запах с такой силой, что остальным кислорода не хватает. Я вижу, как Ярик частенько поглядывает на нее из-за моего плеча, потому что вздыхает Кристина Веник, как умирающий от любви лебедь. Ноздри работают, как у коня. Бее. Наблюдать это ничем не круче, чем отравиться папиным бесцветным супом с дохлой курицей.

Макс Ноев тоже носит очки, как у Дмитрия Валерьевича, только меньше, а еще обладает мама не горюй, какими формами. Мы его неспроста на футболе всегда к воротам ста-

вим. Макс закрывает их полностью, бедным воротам, наверное, даже обидно, что их постоянно игнорирует мяч. Но если моей команде это обстоятельство любо на Точке, то в классе, когда Макс загораживает доску, все начинают орать так, точно мы проигрываем мировой полуфинал. Сегодня самый эмоциональный здесь я, и все молчат – знают, что Кипяток перевернет этот чертов мир.

– Ковчег, отойди, я не вижу. – Кручусь так и сяк, чтобы увидеть цифры. – Макс, отвали, дай списать. – Ковчег меня не спасает. Может быть, он и слышит меня, но этот жалкий писк пролетает мимо его сосредоточенного на примере сознания. – Отойди! Да отойди! *Ты, очкарик!!!* – Дмитрий Валерьевич атаковывает меня суровым взглядом. – Я это не вам. – Отбиваюсь я поспешно, и все складочки на лице учителя мигом разглаживаются.

Никто еще так не ржал, как третий «Б». Учитель, возмущенно вылупившись, стаскивает дневник с моей парты. Битва только начинается.

– Эээ!

– Не бунтовать, ни то к директору пойдешь, и не дай бог без тортика.

– Не надо, только не в убойный отдел.

– Твой отец вчера читал мое первое замечание? – рычит Дмитрий Валерьевич, направив в меня письменную ручку, словно пистолет. Она своим острием мне уже кончик носа красным изрисовала.

– Нет, он уснул. А чо?

– Не отвечай вопросом на вопрос. Значит, сегодня прочтет целых два замечания. Я тебя научу себя вести. – Обещает он и через секунду делает вид, что забывает меня.

Но я знаю, что ни фига он не забывает. Я чувствую прожигающий взгляд через очки, мои щеки горят, словно кто-то выжигает на коже черную дырочку, используя лучик света и лупу.

Лупами Дмитрия Валерьевича можно всю школу сжечь, так металличен его наблюдательный взгляд, пока я во время перемены в столовой громко рассказываю анекдот о Красной Шапочке, которая нашла в бабушкиной кровати волка и кричит «бабуля, у тебя в кровати страшный серый волк!», а та ей отвечает «кому страшный серый волк, а кому любимый Вовчик». У ребят от смеха летят изо рта куски булок, чай, какао, у кого что, а Дмитрий Валерьевич показывает мне жестом, чтоб я застегнул свой рот на молнию. Полминуты мне удается молчать, но потом рот сам начинает расстегиваться. Слышу, как он вспоминает мой прокол на математике, и тогда наши снова ржут, падая лбами на стол и хватаясь за животы. Когда Кристина давится чем-то и кашляет, Дмитрий Валерьевич больше не разговаривает со мной жестовым языком, голос проносится через всю столовую в виде выкрика, чтоб я заткнулся. Мне приходится зажать рукой губы, лишь бы не рассмеяться сильнее. Затем у меня начинает чесаться плечо, и Паштет заявляет, что его папа говорит, чтобы кожа перестала чесаться, надо не чесать ее, а шлепать.

– Ой, ну вот только ты меня не шлепай, придурок… – Громко говорю я не без маленького матюка в конце, вызывая очередной приступ смеха и уже не только за нашим столом. – На что же у меня аллергия?

– На жизнь.

– На школу.

– На учителей. – Отвечают вместе трое человек, в том числе Паштет.

– Угу. Особенно аллергичны те, у кого любимая фраза «ты никем не станешь». Сами будто далеко пошли. О! Физруком стану! Профессия что надо. Миллиарды долларов буду лопатой грести. «А ну стройся!» – и миллиард в кармане. «Слез с дерева, идиот!» – и еще миллиард в другом кармане. Это такие внеурочные. – Театральничая на полную катушку, я утопаю в очередном заходе смеха, но говорить продолжаю все равно, хотя в уме давно планировал заглохнуть и начать есть, поскольку мои слова долетают до физрука и тот начинает придумывать, как и чем будет меня убивать. – А как же поступать, если чешется щека? Лечить аллергию

оплеухой? С этим надо обращаться к моему отцу – он *такие* оплеухи лепит, что из глаз целый звездный душ вылетает. Ой. – Поняв, что сболтнул лишнего, прикрываю рот двумя ладонями и смотрю на нового учителя с физруком, замечая, что поздно захлопнулся – они все слышали. И если у физрука глаза закатились за горизонт, то у новенького они только выкатились из-за туч.

Попивая в сторонке какао и закусывая булочкой с маком, наш физрук (среди ребят также известный как Дракон) и любитель есть с открытым ртом, торчит впритык к Дмитрию Валерьевичу. Я знал, что эти двое подружатся (среди баб в возрасте общаться в этой школе им больше не с кем), а любимой темой их сплетен станет несносный Кипятков. Стоит отметить, смотрятся эти двое в одной компании довольно необычно – на фоне нашего «классного», который входит в комнаты по красной ковровой дорожке, что расстилается под его ногами везде, где он ступает, физрук теряется, как иголка в сене, блекнет, как закат в десять вечера и выглядит потасканным, неопрятным котом в своих трико, мятой футболке и с рамкой щетины на лице, даже несмотря на свое необычное имя – зовут его Вилен Робертович.

На выходе я вижу краем глаза, что Лали на меня смотрит. Вот чей взгляд никогда не носит неодобрения – она смотрит на меня как друг, без слепого восхищения, а просто. С сознательной любовью. Мой смех куда-то девается, мне не удается закончить одну из фраз, когда я говорю с Паштетом, и я опускаю голову, едва заметно подмигнув Принцессе Лали.

Мне кажется, что пока я сижу спиной ко всем, она направляет волшебный карандаш и пускает искры в мою спину, оттого-то я не могу сосредоточиться на уроке и не могу занять одну единственную позу, мое тело под воздействием тока крутится и вертится, как рыбка на крючке. Вторым уроком выдается чтение, но я так не хочу сидеть в классе. Я хочу забрать свою команду и побежать на Точку, где мы будем все вместе – я, Лали, Ярик, Кристина, Денис, Макс, и, может быть, Диана, – мы опять окажемся на воображаемой радуге, лучшие в мире друзья. Я хочу поскорее на эту радугу, хочу бросить под стол сумки со скучными книгами, играть в футбол, тонуть в смехе друзей и дышать сладким запахом тополей. Вместо этого мы с Паштетом принимаемся активно листать учебник, чтобы найти, на какой странице надо было прочесть и пересказать биографию.

– Идешь со мной и пацанами за школу? – шепчет при этом Ярослав. – У них сегодня есть. На пять минут.

– Сегодня приезжает дед. Не хватало, чтобы от меня воняло. Чо нам задали-то? Лали, какая страница?

– В самом начале после введения.

– Кипятков пойдет отвечать. – Эта неожиданная фраза грохочет в моей голове. Дмитрий Валерьевич медленно усаживается в свое кресло, а голос несет угрозу с примесью язвительности. Если я что-то и вижу под его очками, так это предвкушение коллективного беспокойства, на этот раз *только* у одного меня под кожей. Тут я все понимаю. Он знает, что я ничего не учил, и ему интересно посмотреть, как же я выкручусь. А у меня все еще в разработке план познакомить учителя с папой. – «Двойку» по математике он уже получил, – говорит Дмитрий Валерьевич так, что у меня от злости плавятся мозги. Он говорит так, словно этот факт лично ему доставляет удовольствие. – Сейчас посмотрим, приготовил ли он хотя бы заданный на дом пересказ.

*Ты слизняк!* – врезается мне в горло изнутри, но, слава богу, наружу вылетает только глупое: кто, я???

– Именно ты. Марш!

– А можно повторить?

– Нет. Рассказывай, что помнишь.

– Давай, Кипяток! – поддержка Ярика несет меня к месту казни, как волна.

Еще с дошколенка у меня выработался принцип: выходить отвечать, даже если не знаешь ни фига. Даже если школьная доска – гильотина. Придумывай заранее или на ходу – не важно, главное говори. Тяни момент до смерти – целый мир может перевернуться. Вот я и открываю рот, позволяя языку работать по-своему, без партнерства с мозгами, и прямой репортаж с петлей на шее начинается.

– Федор… Иванович… эээ… Чукча.

Дмитрий Валерьевич оглядывается, словно позади него трещит стена. Его глаза затягивают веревку на моей шее потуже. Я поскорее говорю нормальную фамилию, потому что моя цель – выжить любой ценой.

– Ой, Тютчев. Иван Федорович родился в одна тысяча восемьсот… каком-то там году. Он прожил интересную жизнь! В возрасте шестнадцати лет стал печататься в модных глянцевых журналах. Профессионалы говорили, что у него отличные данные! У него сразу появилась куча фанатов по всему миру. Его отцу (уже не помню, как его звали), не нравилась ранняя самостоятельность сына, отчего он все время на него наезжал. Юному писателю приходилось прятаться в сундуке с нитками. В возрасте двадцати лет Федор выезжал с гастролями в Ливерпуль, где жили суровые челябинские мужики, которые разговаривают с телевизором. Там-то Федор и познакомился со своей женой. Любительницей селфи. Дебютная книга Тютчева в первую же неделю моментально заняла первые строчки в списках бестселлеров, покорив читательские сердца, была удостоена всех литературных премий, занесена как самая продаваемая в книгу рекордов Гиннеса и экранизирована. Лично я не читал эту книгу и пока не знаю, что там такого толкового и прекрасного. Дедуля вот говорит, что у них на работе самое большое количество премий получают те сотрудники, которые знают, кого надо получше облизывать. АУ!!! – только я вхожу во вкус и начинаю верить в собственные слова, как у меня отрывается ухо.

Мое сочинительство подействовало на всех по-разному в зависимости от особенностей каждого. Моя футбольная команда смеется громче всех остальных. Пока меня тащат из класса, я успеваю обратить внимание на Лали. Она покраснела за нас обоих, будто я ее пьяный муж, который валяется под скамейкой. Лали старается спрятать свой стыд за кудряшками, опустив лицо в учебник, но что бы она ни предприняла, этого недостаточно.

Дмитрий Валерьевич за время моего выступления успевает исписать мой дневник красной ручкой на два листа – здесь уже и две острые «двойки», и громкие замечания о поведении, и размашистая мольба к моему отцу срочно явиться в школу. Сейчас он занят тем, что истерично орет в коридоре, взяв меня в заложники между собой и стеной.

– Не успел начаться второй день в моей новой школе, а один из учеников меня достал так, что у меня трясутся руки! Ты своего добился? Вывел меня из себя? Зачем ты ведешь себя, как куча дерьма? Какова твоя цель? Придурок. Или тебе все это удовольствие доставляет? Чего молчишь?

– Мне продолжать?

– Не испытывай мои нервы! Во сколько отец приходит домой? Я проверил *все* номера его телефонов, и ты не дал мне ни одного верного!

– Ну, попутал.

– По твоей заслуге попутаю скоро я! Заруби себе на носу: с этого дня я тобой займусь. Вали в класс! И за работу на уроке – «два»! Скотина.

На улице я приближенным к манере Дмитрия Валерьевича голосом передразниваю его, повторяя то, что во время урока чтения и так услышала вся школа, а еще булочная напротив нас. Рядом стоят Принцесса Лали, ее подруга Диана Мягкова (Мягкушка), Паштет, Веник, Хоббит и Ковчег. Семь человек, включая и меня, входящие в нашу сборную. Угорают все, кроме Лали. Она в этом не видит чего-то смешного. А еще она, как и все остальные, не видит, что из окна за нами наблюдает Дмитрий Валерьевич, щуря глаза и все прекрасно слыша. Только

один я знаю, что он там. Чувствую его взгляд. Со второго урока он не изменился, если только еще чуть-чуть стал суровее и заносчивее, как будто настало самое подходящее время определить слабое звено.

– Ты себя вел глупо, – говорит Лали. – Глупее, чем всегда.

– Видишь, я иду на рекорд.

– Как бы тебя отец за это не пришиб. – Пугается Ярослав.

– Не при дедуле. Я же вам рассказывал про случай в первом классе.

– Не слышал. Что за случай?

– Повторяю специально для Дэна. Прихожу, короче, домой, а отец там подпитой валяется. Я потихоньку пробрался к себе, а тот следом. В дверь стучит, потом влетает с криками: «эй, щегол, ты уроки делаешь или как всегда? Вырубай свою музыку!» Я говорю, что попозже сделаю, а он увидел, что у меня в дневнике рядом с «пятерками» парочка нелестных замечаний от училки, и давай орать: «ах ты тварь такая-сякая, опять меня твоя училка доставать будет, домой будет звонить, в суд будет звонить, как мне это надоело, я тебя щас по стенке размажу!» И стаскивает с себя ремень. А он, видимо, когда дрых бухущий в хлам, не слышал, как дедушка домой прилетел. И тут врывается дедуля (начальник отряда семейных спасателей – не убавить, не прибавить), отца за волосы тащит из комнаты (ему много усилий прилагать не надо, папа тощий, а особенно на фоне дедули), а мне подмигивает, говорит «привет» и чтоб я наушники вставил себе в уши. Короче, пока я слушал музыку, в квартире явно что-то происходило, а когда я зашел к папе в спальню, тот весь красный, лохматый… В общем, дедуля ему наподдал! – закончив историю, я наворачиваюсь от смеха, и ребята повторяют мое движение.

Затем рассказываю, как папа в первом классе путал буквы «д» и «б». Как дедушка проверял его тетрадь, а у папы в сочинении машина не едет, а… то же самое, но с буквой «б». Мы с ребятами надрываемся и теряемся в этом смехе, нам больно, у нас заканчивается кислород, но смешно все равно. Зато после у всех возникает ощущение, что мы двадцать минут качали пресс.

– Ты даешь, Кипяток! И классный у тебя дед! Ладно, мы порулили. Пошлите, пацаны, за Степой сейчас батя приедет. – Подгоняет всех Ярик. Именно он и Лали прощаются со мной последними, и когда я шепчу Лали «я позвоню тебе», расслабленное и беззаботное после смеха лицо Ярика каменеет и наливается целым вагоном забот. Кроме меня это видит только затылок Лали, поэтому острые глаза Паштета ее не останавливают – она берет мое лицо в ручки и целует меня так взросло, что мои мысли разлетаются, как белая шевелюра с позднего одуванчика. Весь мой свет сосредоточен на ее губах со вкусом клубники, а мои руки сами находят себе место на ее талии. Когда мы заканчиваем, и я едва возвращаюсь к жизни, в меня врезается взгляд Паштета – он смотрит на меня так, словно я ошпарил его кипятком. А потом уходит по-английски.

Меня переполняют самые разные чувства. Я счастлив с Лали. Я несчастен дома. И мне нужно понять природу поведения своего лучшего друга. Такого с нами еще не происходило, потому что обычно я понимаю все, что только влезает в его башню. Наконец эти мысли перебиваются, когда в ворота школы въезжает черный мотоцикл отца, обратив на себя внимание прохожих видом езды, видом корпуса с языками пламени и громким рокотом. Ради фарса отец никогда не надевает глушитель на свою адскую машину, на которой однажды я могу не доехать до дома. Я думаю об этом всякий раз, надевая шлем, наколенники и налокотники. Вот и сейчас то же самое. Одеваюсь и молюсь. Поцелуй с Лали. Я могу умереть ради еще одного такого мгновения, но не раньше, чем повторю его миллион раз. Мне вообще не надо гибнуть на дороге, когда-нибудь меня разнесет это чувство к ней.

Наперекор судьбы из окна до сих пор наблюдает Дмитрий Валерьевич. До меня доходит, что этот смутьян и мой с Лали поцелуй видел. Он распахивает окно и зовет моего папу по имени-отчеству, но папин шлем не рассчитан на то, чтобы слышать орущих в окнах учите-

лей за несколько метров от земли. Пока я прошу папу не гнать слишком экстремально, так как я очень хочу дедушку увидеть и дожить до того дня, когда он испечет нам пирожки, Дмитрий Валерьевич не сдается и выбегает на улицу. Тогда я подаю папе знак «к поездке готов» (два раза хлопаю по его плечу рукой, обтянутой в перчатку без пальцев, как у папы), и он трогается с места так резко, будто в его двигателе все это время сидел обезумевший барс, жаждущий рвануть за ланью. И вот наконец-то он срывается с цепи. В боковом зеркале я вижу, как из-под заднего колеса мотоцикла вылетает фейерверк грязи, и все на Дмитрия Валерьевича, на его обалденную, наглаженную и превосходно чистую нежно-розовую рубашку. Не знаю, какими словами он нас обоих поносил на этот раз, мы с папой к этому времени были уже далеко от его бешенства.

Когда на повороте папа сворачивает на самой опасной скорости, смертельно близко прижавшись к земле, мне приходится ловить свое выскочившее из груди сердце. Кто будет подбирать с дороги наши кости, когда папины трюки, не дай бог, закончатся не одним только экстазом с его стороны?

Мы мчимся между рядами машин, как пуля в дуле ружья. Я зажмуриваю глаза в попытках избежать кошмара, но любые кошмары в темноте становятся намного страшнее, реальнее и ярче. В темноте я чувствую, как мы едва успеваем изворачиваться от грузовиков и фур, как мы пролетаем над мостами и едем прямо по рельсам на одном заднем колесе, или, прижавшись шлемами к земле, проносимся под днищами автобуса.

Жуть. Лучше открою глаза.

Вот что я хочу сделать после пары минут таких гонок: написать вдоль борта «Внимание! Трюки выполнялись профессионалами! Ни в коем случае не пытайтесь повторить!»

После нескольких минут борьбы за жизнь я, до сих пор дыша, захожу в квартиру, где первой мне в глаза бросается чистота. Даже наши с папой вещи больше не валяются на полу, они все перекочевали в полки и шкафы. Разбросанные носья, о которых мы не вспоминали, напомнили о себе своим отсутствием. Я обращаю внимание на вешалку в прихожей, где висят сумка и ветровка дедули. Вкусные запахи еды заслуживают особого внимания, но именно ветровка вызывает во мне улыбку, которая всплывает на поверхность. Такое впечатление, что это сам дедуля передо мной стоит, но потом я наконец-то слышу его отрепетированные шаги в кухне.

– Какие люди! Да без охраны! – говорит он, театрально появляясь перед нами с раскинутыми руками, ставя свою спортивную фигуру полубоком.

– Дедуля! – я с выкриком кидаюсь к нему в руки, обхватываю его широченную спину, к бедрам которая сужается, вдыхаю запах его духов и пота, пачкаюсь об его фартук, заляпанный чем-то съедобным, отец ворчит, что я пачкаю новую футболку, но мне все равно. Папе тоже все равно, но на все подряд. В том числе на то, что *его* папа прилетел. – Дедуля, я так соскучился! – в этих горячих объятиях я буквально растекаюсь.

– Я тоже соскучился! Иди мой руки, сейчас будем обедать.

А потом мы летим: я – в ванную, моя сумка – в комнату. В ванной я слышу, как в протестующем вопле исходится отец, оттого что дед говорит «иди ко мне, безобразник мой любимый», до треска давит его руками, смачно целует его в щеку, затем во вторую, трясет его и тискает, зная, что папа этого терпеть не может, вот потому и тискает. Мой дед приколы сильнее жизни любит. Это *он* мне недавно анекдот про Красную Шапку прислал. Он бросает мне под ноги целый мир! Мы с ним на одной волне по жизни катаемся, это папа давно упал с волны и ушел на дно, нам с дедом его с аквалангами приходится искать.

– Вот это, я понимаю, борщ! Можно добавки? – прошу я, облизывая губы и совершенно не стараясь задеть этим отца, но когда перевожу на него взгляд, вижу, что папа задет настолько, что на нем осталась глубокая царапина рядом со шрамом.

Пока я доедаю борщ, который дед приготовил по моему любимому рецепту (из соленой капусты и без мяса), я слушаю, о чем разговаривают мой папа со своим папой. Папин папа интересуется, как мы живем (вопрос колет меня прямо в желудок; *никак* мы не живем), но мой папа буркает «хорошо», опустив грозный взгляд в тарелку с борщом, который превзошел его вчерашний никакой суп. Ну а он чего хотел? Его суп превзойдет по вкусу даже лужа. Я едва прячу в себе то, что назревает и хочет вырваться наружу у меня из души. Вдруг очень сильно хочу высказаться дедушке и попросить о помощи, но отец это интерпретирует по-своему: скажет, я его хочу сдать, ябеда такая-сякая, ведь мне ничего не доставляет такое удовольствие, как подставлять родного отца. А я всего-то пытаюсь вернуть мир в свою семью. Но я застегиваю рот на молнию. И не пробалтываю о том, что папе плохо, что у него снова обострение, что он опять вливает в себя, как в кувшин. Молчу я и тогда, когда дед сам задает папе наводящий вопрос, а тот, кидая на меня какой-то бандитский взгляд, врет своему отцу, что вообще не пьет. А я опять молчу, не говорю, но отчаяние бьется во мне как птичка в клетке, я не говорю, но думаю и думаю о том, что нам с папой плохо. Что такого понятия как «мы» уже нет. И что я зайду как угодно далеко, чтобы спасти папу, потому что он любовь всей моей жизни. И мои мысли читает дедуля. Видимо, я зеркало. Мое лицо отражает все душевные уголки. И моя боль, которая развертывается только у меня на изнанке, не сумела спрятаться от дедули под кровать или стол.

– Глеб. – К сожалению, у него выходит чересчур молитвенно. – Подумай о ребенке. Такой хороший, умный мальчик. И ты и он. К тому же пост, который ты занимаешь…

– Я тебя умоляю. И сказал ведь, что я не пью! – психует папа, а слезы, что зависли у него на ресницах, выдают и его душевные раны тоже. Мы с ним оба хороши, два одинаковых. Отец и сын. Близнецы с разницей в возрасте в восемнадцать лет.

– Глеб. – Повторяет дедуля. Обычно он не выглядит на свои сорок семь. Обычно он не ругается и не обнажает при нас отчаяние, но когда что-то подобное происходит, его вечно улыбающееся лицо становится чуть старше, а голос повторяет грусть, которая во мне.

– Если я угорю, ты заберешь своего любимого, хорошего и *умного* мальчика к себе в Питер. А безобразника похоронишь где-нибудь во Владивостоке. – Выстреливает мой папа в своего, не дав ему закончить. Меня же сотрясает безмолвный крик. Во-первых, мне не нравится папин тон. Во-вторых – не поеду я в Питер навсегда! Я люблю там бывать, но я не уеду! Принцесса Лали и Паштет останутся здесь, а я буду *там*. Что я там забыл, кроме жизни без них? А без папы как жить? Как он может нам с дедом такое говорить? Жить без папы – это все равно, что стать пустой и поломанной яичной скорлупой, из которой сбежал милый желтенький цыпленок – радость для любых глаз.

– Очень смешно. И это ты *мне* говоришь. Мне, человеку, который тебя вытащил из лап кошмарной зависимости. Вовремя вытащил. Спасибо, ты мне очень благодарен. Я уж, поверь, натерпелся, когда погибла твоя эта… Альбина-Француза. Или как там ее? – (Папа выстреливает себе в лоб из пистолета, который соорудил из своих пальцев). – Замонал ты меня в то время своими истериками, так, что и тебя хотелось убить, чтоб мы оба не мучились.

– Ну, все, все. Ты выиграл! Приз в студию! – орет отец, а затем происходит то, чего я боюсь больше всего: дедуля открыто задает вопрос *мне*. Пьет Глеб или нет. А мой язык ведь не всегда слушается команды моего сердца. *Да,* говорю я, *Глеб пьет.* Глеб велит мне закрыть пасть. Мы сталкиваемся взглядами, как два козла рогами.

– Не смей так разговаривать с сыном! – Дедуля выходит из себя. Я уже вижу, как с характерным свистом идет дым из его ушей.

– Ты бы слышал *его*. Тебе надо проявить капельку понимания, пап. Не воспитывай меня при Степе. Ты меня при нем унизил, как только мог. Он не слушается меня.

– По-твоему, быть алкоголиком – это еще не так унизительно? – думаю я или говорю.

– Я велел тебе заглохнуть…

Так и знал. Я не сдерживаюсь. Мы все трое больше не сдерживаемся. И *кипятимся*.

– Ребята, хватит. Я приехал не за тем, чтоб за кого-то заступаться и выслушивать разборки. Степка, – теперь дедуля говорит так, что я понимаю – он выбрал тему безопаснее и любопытнее. – Как дела с Лали?

От упоминания этого имени во мне кипятится что-то новое. То больше не мои нервы, это моя кровь. На мгновение я замолкаю, прислушиваясь к ощущению – Лали плавает во мне вдоль позвоночника, вокруг сердца, как русалка возле рифа. Поцелуи переполняют мою голову, как фантики вазу. Даже язык застревает где-то от волнения, так что мне ничего не удается рассказать дедуле о Стране Чудес, куда я попадаю всякий раз, когда трогаю ее руку или волосы.

– Мы по-прежнему дружим. – Как же много всего можно утаить за плотно закрытой крышкой подсознания.

– У твоего сына есть девушка! – дедуля подмигивает и толкает папу в бок.

– И безнравственное поведение.

– Святоша откопался! – добавляет дедуля, переводя на меня взгляд. Говорит он это так забавно, через свой заразительный смех, поэтому и во мне немедленно пузырится азарт. – Тебя выбрали в судьи, сынок, потому что ты *официально* не безобразник. Но фактически ты настоящий паршивец и лучше бы тебе не катить бочку на Степу – он на тебя, к великой радости, не похож. – Через ржач говорит дедуля, словно ничего смешнее в мире нет, а потом вкручивает очередную миниатюру о папином детстве, потому что знает – папа ненавидит, когда он несет прозу о его истериках, подгузниках, бутылочках, соплях и прочую «порнуху для мозга», выражаясь его словами.

Мы обхохатывается над воспоминанием о манеже, который обделал мой трехмесячный папа, и тот сжимает губы идеально ровной полоской, смотрит на нас с дедулей так, словно мы нацепили накладные ресницы, розовые парики и колготки в сеточку.

– Кстати, я забыл твой дневник проверить вчера… – объявляет папа, перебивая этот полет хорошего настроения.

Все, пока! Я спрыгиваю с планеты.

На самом деле я этого не делаю. Я ничего хорошего не делаю на пару со своим ртом, который, не согласовавшись со мной, раскрывается и орет:

– Да! Потому что «нажрался» и вырубился, как настоящий алкаш!

Папа едва сдерживается, чтоб не треснуть меня через стол. В силу выражения его лица он хочет именно этого. Его рука так соскучилась по моей щеке, так соскучилась. Дед шипит на нас обоих, но голос папы опускается до зловещего шепота и все-таки заканчивает свою фразу:

– Дашь мне дневник посмотреть, как закончишь есть. А потом все уберешь со стола и пойдешь уроки делать, иначе компьютер выброшу. Ты готов вечность сидеть на телефоне или в Интернете со своими дружками!

Папа не знает, насколько часто я сижу за компьютером, разыскивая по всему Интернету видео с новыми необычными техниками для рисования. И сколько писем пишу маме, никак не могу остановить то, что бьется у меня справа в груди. Пошел он. Что он знает о моей жизни? Уже ни черта!

– «Степа, сделай то! Степа, сделай это!» Ооо! Достал.

– Это значит, что тебе трудно показать дневник?

– Заднее сальто тебе не показать?

Двое Кипятковых доходят до точки кипения. Представьте себе кастрюлю, печку, которую забыли вырубить, и оттуда вода плещет. Наш дом – та самая кастрюля. Мы с папой кипятимся, варимся, наши тени душат друг друга на полу, а в роли агента семейной безопасности выступает, как всегда, дед Вова.

– В соответствие с внутренней политикой семьи Кипятковых, – вздыхает он на каком-то инопланетном языке, – драки запрещены. Словесные дуэли запрещены. Штраф – мытье посуды сроком от одного до двух месяцев. – А потом у папы в лице возникает такое выражение,

которое бывает, если человек хочет сказать «ну ты и идиот». У него даже живот дернулся от хохота, будто водонапорная башня пытается удержать переизбыток воды. – Сколько можно? Глеб, ведь ты взрослый человек.

– Когда ты успел заметить? – рот папы раскрывается и оттуда сию же секунду выпадает ненадлежащий смешок.

– Ты мог бы вести себя иначе. Например, не распускать руки и не обзываться. Хочешь, я открою тебе секрет? Когда он вырастит, ты получишь сдачи.

– Не понял. – Рычит папа.

– Все ты понял. – Настаивает дед. – Смотри, как он вымахал. В шестнадцать будет хорош, как конь, если не в четырнадцать. Думаю, он в этом возрасте приличным шкафчиком станет. Ты в это же время был кудааа мельче, чем Степа.

– Это жульничество! Ты меня отдал в первый класс в шесть! На съедение!

– Чем раньше кончится этот отстой, тем лучше.

– Чего же ты своего здоровячка не отдал в школу с шести лет?

– Степа – *твой* сын, за него *ты* отвечаешь.

– Ты жулик!

– Не важно. Будешь и дальше его унижать, он лет через пять покажет, кто из вас щегол.

Папа, кривя душой, смотрит на меня, а я стараюсь как можно ярче представить, как опрокидываю на него статую правосудия за то, что он обзывает мою маму, чтоб это выступило на моем лице.

– Ну ладно. Заседание окончено. – Негодующе отзывается папа, стукнув ладонью о стол, будто судейским молотком, и срывается с места. – Мне надо собраться. Пап, спасибо. Очень вкусно.

– Пожалуйста. А куда… – дед не успевает задать вопрос, как папа запирается в комнате, чтоб переодеться. Странный он. Зачем закрываться? Иногда он вообще голый по всей квартире щеголяет, и плевал он на то, что мне противно. А тут закрылся, приличный. Как-то раз он мимо Паштета прошелся, в чем мать родила – мне после этого десять лет пришлось уговаривать друга, что ему это показалось и что мой папа не извращенец. – Куда он так спешит?

– *Так* он может спешить только к секретарше.

– Он все еще встречается с ней? С этой Равшаной? – морщится дед.

– Да.

– Он ведь ее не любит. – В его лице выступает надбавка «неудивительно».

– Ему никто больше не даст. Деда, у тебя в Санкт-Петербурге есть женщина?

– Ты слишком много хочешь знать. И почему это папе никто не даст? Он хорошенький.

– Только внешне, если мне самому его одеть и причесать. Почему тебе не нравится Равшана?

– Она с пулей в голове.

– Видишь… Папа мог бы провести это время со мной, а сам уходит к ненормальной девке. Вчера после работы он наорал на меня, напился, и повалился спать.

Я люблю дедулю, но он начинает разглагольствования о новой папиной работе, о том, что он судит детей, что это морально тяжело, как будто все это может встать между мной и папой. Я не знал, что и дед так считает. Не знал, что он не видит истиной причины нашего отдаления. Это явно не работа.

– Если человек заслужил, то не жалко! Некоторые заслуживают того, чтоб их на части разорвали после того, что они совершают. Плевать, если это дети.

– Ты прав, но это немногое меняет. Папа устает. И у него депрессия. По части из-за мамы. Но дело не в ней самой, а в том, что папа старается найти счастье, а у него не получается.

Это блюдо уже ближе к столу, но…

– Меня ему недостаточно?

– Конечно, нет. Но ты не спеши обижаться. Ты сам все поймешь. Папе нужны счастливые отношения с любовью. Тогда мы все будем счастливы. Он сможет дать тебе только то, что есть у него самого. Ему не хватает кусочка *того* счастья, он нуждается в нем, потому что когда-то его отобрали, а он не наелся. Любовью вообще невозможно насытиться. Когда целуешь любимого человека… ты не знаешь, как это. Тебе нужно еще и еще. Ты не хочешь делать паузы.

– Дедуля. А что, если я скажу, что уже знаю, что это такое? – говорю я, подразумевая свой случай с Принцессой Лали.

– Даа? Ну-ка, ну-ка!

Папа из коридора зовет меня по имени, это значит, что он сейчас войдет, а я дверь-то лопатой не загородил. Мне приходится прервать разговор с Принцессой Лали, я говорю ей, что перезвоню и переключаю внимание на папу, входящего в мою дверь. На нем чистые носки, чистые синие джинсы и нормальная белая футболка. Даже волосы причесал. Вау. Он садится рядом со мной впритык, бедро к бедру, и крепко целует в щеку. Вау!

– Лали? – нежно спрашивает папа.

– Да, она.

– Хочешь рассказать мне о ней? Я тебе рассказывал про свою первую любовь.

Не сейчас. Я уже дедуле выложился. Не знаю, как только себе что-то удалось оставить. Во время рассказа вслух все слова и чувства стали более осязаемыми. Именно так – я распылил их в воздух и они осели прямо на моем лице, от того-то папа стал такой любопытный, от того-то он выглядит так, словно смотрит сладкий сон, когда видит такое у меня в лице. О моей любви теперь знаю не только один я. И если мне все это сейчас повторить еще раз, меня просто куда-нибудь унесет.

– Сейчас не хочу рассказывать, это долго. Ты спешишь. Иди. Но только вернись. Ты вернешься ночевать? – последнее получается на грани с клянченьем, только почему-то слишком тихо. Папе, наверное, кажется, что если сейчас он ответит твердым «нет», я рассыплюсь, как соломенная кукла.

– Может, вернусь, а может, нет. Не знаю. Покажи дневник.

– Обещай остаться, и покажу.

– Не шантажируй меня. Я могу и завтра посмотреть, только завтра я могу снова стать злым.

Сегодня папа весь день пробыл добрым волшебником, раздающим конфеты с клубничной начинкой, по сравнению с тем, насколько все хуже может быть. Это была не точка кипения. Только ее отдаленная копия. Я знаю, что по-настоящему вскипятиться отец сможет, увидев мой дневник, но ведь мне нужно это сделать, мне ведь необходимо познакомить папу со своим учителем, потому что шестое чувство подсказывает мне, что Дмитрий Валерьевич поможет. И я обрекаю себя на то, чтоб вытащить дневник из надежных стен сумки. Папа *так* таращится на записи, будто ожидал увидеть пару комплиментов, но вместо них обнаружил *вот это*. Он таращится на меня, как на осужденного в зверском убийстве, и уже через секунду я чувствую себя мальчиком, который ударил кого-то по горлу топором. Мир сжимает меня в комок в своей огромной ладони, как клочок бумаги.

– Ты в своем уме? В конец рехнулся, отморозок?!! – отец орет так, что у меня закладывает уши. Где ты, дедуля? Мысленно я вызываю в свою комнату дедулю. – Не успел прийти в школу, как получил два замечания и «пару» за домашку! Ты сказал вчера, что все выполнишь, а сам сел за комп письмо писать?! Или красками калякал? Или конструктор собирал? Или порнографию смотрел?

– Конструктор собирал!

– А может, ты с малолетней сучкой по телефону трепался?

Я бы его точно сейчас ударил по шее топором. Стерпеть можно все, что угодно: что я калякаю красками, что я смотрю порнуху (у меня детский Интернет подключен, если что), и даже оскорбления в адрес мамы можно стерпеть, скрепя зубами, это ведь была *папина* подружка, а не моя. Можно также не обратить внимания на его презрительные слова о письме, точно это самое пустое занятие в мире. Но чтоб на Принцессу Лали нападать?! Этот засранец хоть знает, что она выпрыгнула из сказки? И что у нее настоящие кудряшки – такие же настоящие, как она вся? И что она не строит глазки взрослым мужикам? Он об этом знает?

Я нападаю на отца с множественными криками, мертво вцепляюсь в черную солому его волос и срываю ее у него с головы, потому что во мне вырастает сила, такая сила, которая заключена разве что в теле хорошо подкаченного пятнадцатилетнего пацана, а мне – только девять.

– Не смей! Она не сучка! Это ты спишь с шалавами! И ведешь себя, как кусок дерьма! Мы больше не гуляем, мы больше не играем, мы не делаем уроки, вот и вали, куда шел! Вон из моей комнаты! И из моей жизни, и из меня! Я тебя ненавижу! Алкоголик! Ненавижу тебя!

Я слышу, как отец кричит, пытаясь меня оторвать, но я прилип, как пластырь, и отрывать меня больно. Думаю, я стану его второй кожей, которая зудит, и пусть он обо мне вечно думает. Мои годы тикают с каждой секундой. Мне пятнадцать, шестнадцать, семнадцать… двадцать! Во мне поднимается сила. Тайсон отдыхает. Мне нужно еще больше электричества. И еще. Я ему все волосы выдерну! За все страдания, несправедливость и позор, что он заставил меня испытать. Я запрыгиваю на отца сверху, не заметив, когда у меня это получилось; срываю солому, и в первую очередь папа пытается разжать именно руки, но пальцы мои сильны. Тогда он решает поменять стратегию боя. Он подключает нижнюю часть тела, и когда догадывается перевернуться на бок, чтобы я сполз, отталкивает меня ногой, и я обрушаюсь на свой конструктор, из которого выстраиваю замок.

После шторма наступает тишина. Через несколько лет, которые мы с папой провели в этой полной тишине, пытаясь осознать произошедшее, я сперва осторожно поднимаюсь на руки. Кажется, я где-то уже это видел – мы с папой скукожились. Думаю, клей тот не просто был плохим клеем, он на девяносто процентов состоял из воды. Папа похож на остервеневшего филина с гнездом на голове, в которое попала молния. Вначале кажется, что я себе все кости переломал, всю шкуру везде ободрал и всю душу себе вытряс. Но это не так, я просто испугался, оттого и плачу, сидя сверху на деталях конструктора. Подо мной разрушился целый мир. Мир, который я кропотливо строю. Складываю и скрепляю его по кусочкам, но отец всегда умудряется его снести, потому что новый светлый мир ему не нужен. Ему нравится жить в своем страшном мире, захлебываясь черными тенями. А я не могу сидеть на обломках. Сидеть на них ужасно больно, но сейчас я не замечаю, плачу из-за другой боли, которая сильнее и не проходит.

На этот раз помощь агента семейной безопасности появляется не вовремя. Когда дедуля прибегает из ванной в мою комнату, смерч уже прошелся по городу. Деду остается только устранять последствия разрушений. Он помогает мне подняться (пока папа благополучно ретируется из квартиры, прилизывая на ходу свое гнездо), ведет меня на кровать и прижимает к себе. На груди у дедушки я реву голодным котом, так реву, что думаю, мне сейчас не девять снова. Мне, наверное, снова три.

Через несколько минут я могу сравнить себя с силой выжатым мокрым носком. Я опять изливаюсь в разговоре, когда дед приносит в комнату поднос со свежезаваренным чаем, с конфетами и печеньем. Обычно это действительно лечит, кроме, конечно, тех случаев, когда от тебя остается одна скорлупа без цыпленка (если умирает кто-то из близких). Такие случаи не лечит обычный чай. Даже не знаю, что лечит. Когда умирают мама или папа – это не означает ничего, кроме конца всего на свете. После этого люди не спешат в школу. Не переживают по поводу не сделанной домашки. Пропускают голы. Не едят. Удивительно, какими бес-

смысленными кажутся после этого такие вещи, как почистить зубы утром или налить себе чай. Удивительно, насколько не нужно больше утюжить себе рубашку. Или покупать новые плитки красок, цвета которых больше не различаешь.

Глядя в дневник, дедуля объявляет, что в этом есть протест, потому что я, вообще-то, очень способен к учебе. Я отвечаю, что не знаю, что мне делать, а он говорит, вот этим (надпись в дневнике: *Аморальное поведение!*) положение не исправить. Никогда такого не происходило в мире, чтоб плохое поведение мирило людей. Я чувствую подкатывающую ко мне волну отчаяния, но быстро отбиваю ее от себя невидимой битой. Правда, после этого утверждения не могу придумать, что сказать, кроме одного:

– Дедуля, ты прости, что тебе пришлось все это увидеть в первый день своего приезда.

В субботу я кладу в сумку чистую тетрадь, но забываю о том, что тексты песен буду записывать под диктовку новой училки, которую вместе с собой притащил сюда этот самодовольный дятел Дмитрий Валерьевич. Он сказал, что со своей дятличехой они старые друзья. Видимо, там такая же выскочка, как и он. Друзья друг друга стоят, поверьте, даже если они разные люди, они друг друга стоят все равно. Правда Паштет ее расхвалил налево и направо, но *особенно* ее грудь, ведь как преподавателя мы ее пока не знаем, а что до меня, мне даже на этой неделе в школе не удалось с ней столкнуться. Я и не представлял, что она вовсе не из отряда дятлов, она даже не училка, а учительница. И никакая не выскочка. Она настоящий друг. Я и не знал, что она тоже из сказки. И что когда я увижу ее, не смогу описать ее иначе, как отвязанную и прекрасную. Необычную. Юную. Оторванную ото всех худших земель, потому что она с ними не совпала. Она, как и мой дедуля, с детьми на одной волне. Ничего этого не зная с утра, я доживаю до конца четвертого урока, весь в ссадинах от уравнений, истерзанный новыми знаниями, и ничего, ничего интересного от последнего урока не ожидаю, кроме, разве, того, что он нанесет мне контрольный удар в мозг. Я хочу, чтоб он кончился. И чтоб мы погнали на Точку – сегодня наша команда играет в полном составе, наконец-то.

– Можно поговорить с тобой? – спокойно спрашивает Дмитрий Валерьевич, разбавляя мои мечты, и я знаю, чего он снова хочет. Всю неделю пристает ко мне с расспросами. Несмотря на то, что я поднажал с уроками и дома у меня затишье (отец после драки еще ни разу ко мне не подошел), учитель требует привести моего папу в школу. Знал бы он, что мой отец захлебывается фиолетовым цветом. Ему на все плевать. Ему *фиолетово*. – Ты начал заниматься к концу недели. – Замечает учитель с одобрением. Я вздыхаю. (Ну да, и что дальше?) – Признайся, что случилось в ее начале? У тебя *все* хорошо в семье или тебе есть, что мне рассказать?

Я впервые в жизни так глубоко проглатываю язык. Думаю, Дмитрий Валерьевич замечает, как мне стало неуютно. Во мне норовит вырасти стена, чего раньше не было, раньше стены стояли только снаружи и перекрывали нам с папой отношения.

– Ты можешь разговаривать со мной, о чем угодно, – настойчиво продолжает он. Голос вовсе не опасный. Личное пространство спокойно. – Я дам тебе совет, на то я ваш классный руководитель. Я хочу, чтоб ты доверился мне. Это не страшно.

– Да ничего там особенного не было. – Дышу, как перед прыжком. Пожалуйста. Пусть это выглядит как правда. – У папы новая работа и проблемы в личной жизни. Он меня не трогает, честно, не трогает. Он просто забыл обо мне и все. Ясно?

– Угу. Синяки откуда на руках? – взыскивает Дмитрий Валерьевич. От уроков, хочу сказать я. Поначалу его требовательные глаза не выдавали подозрений. Но видимо, я слишком жирно обвел слова «не трогал, честно». Подтвердили же подозрения учителя мои руки. Я и не догадался их никуда спрятать. Надо было отстегнуть и оставить дома, пока не заживут. На подоконнике, например. А на подоконнике много солнечного света – в нем витамин «Е», который полезен для кожи.

– Я упал на конструктор. Разрешите пойти на перемену.

Глаза его как два чистых озерца. Я б искупался в них, но тогда и сам стану слишком чистым для того, чтоб он догадался на все сто.

После звонка на четвертый урок мы берем чистые тетради и ручки, и следуем в кабинет музыки. Замечаю, что другие ребята туда не просто следуют, а летят, как гоночные машины и свистят туфлями на повороте. В небольшом кабинете с пианино, столом и тремя горизонтальными рядами из парт появились некоторые обновления. Первой на глаза бросается гитара, покрытая красным. Я приостанавливаюсь около. Кто-то орет:

– Вау! Гитара!

– Да такая классная!

– Я не понял, мы тут чо, крутую музыку, наконец, изучать будем?

– Хоббит, твоего любимого «Скутера» в первую очередь! – язвит Кристинка.

На учительском столе я вижу ноутбук, тетради, книги о каких-то группах, взятые, наверняка, из библиотеки (у нас там *всякой* всячины полно, наследство от предшественников), а также вижу смартфон в кожаном чехле с изображением еще более крутой гитары. Электрической! На такой даже мой папа играть не умеет. А учительница умеет, наверное. Я сегодня у нее спрошу.

Мы усаживаемся за парты. Я и Ярик, как всегда, первее всех, прямо напротив стола учительницы. У Паштета дрожат руки. Я спрашиваю у него на ушко, что с ним, но он увиливает с таким странным ответом, что я и через секунду не могу вспомнить, чо он там сказал. И в этот момент в класс входит девчонка. Средненькая ростом, стройная девчонка, неся с собой улыбку, бодрость и море света. По-птичьи тонкую фигурку утягивают бриджи крутого защитного цвета до колен и со шнурками, а также черная футболка с надписью *цой forever,* которая растянулась на ее полной груди. Кого мой отец и заслушивает в этой жизни до дыр в звуковой дорожке, так это «Арию», «Наутилус Помпилиус» и Виктора Цоя. Девчонка поправляет коричневые волосы, точнее рассыпает их по воздуху, пока я обращаю внимание на напульсники и браслет. Теперь ее волосы чуть беспокойны, и я узнаю кое-что новенькое о стиле: оказывается, небрежность может быть к месту, а не так, как у папы моего. Мое сердце вдруг начинает заполнять все пространство, притеснять все остальные органы в теле. Девочка напоминает более радостную и ухоженную версию моего отца. Сколько же лет я могу ей дать? У нас во дворе есть компания девчонок, которые любят сидеть на лавках и заборах со своими парнишками. Насколько я знаю, этим девчонкам по семнадцать-восемнадцать лет. Вот и *ей* я даю столько же, и наконец-то понимаю, *что* пропустил первого сентября.

– Привет. – Девчонка усаживается за стол. – Итак, меня зовут Юлия Юрьевна, если кто-то забыл.

Мои руки складываются на парте одна на другую. С каких пор я примерный ученик?

– Ваша прежняя учительница играла на пианино… – констатирует она, но без энтузиазма.

– Это плохо? – нечаянно перебиваю я, а потом чувствую себя енотом впервые в жизни. Зная, что не впервые веду себя по-дурацки, чувствую я это только сейчас, перед Юлией Юрьевной. – Извините, пожалуйста. Не сдержался. – С другой стороны, мне ужасно хочется все это узнать. Я хочу знать о ней все: нравятся ли ей другие инструменты, кроме гитары? Нравится ли пианино? Можно ли мне сыграть перед ней прямо сейчас? Какие группы она слушает кроме «Кино»? А кино какое любит? Любит ли котов? Не желает ли познакомиться с моим папой?

– Ты Кипятков? – спрашивает она, пока я составляю в уме список вопросов, кроме последнего про папу. – Дмитрий Валерьевич рассказывал о тебе.

– Сплетник. – Мне хочется молчать, но языку фиолетово на мои желания.

– Что-что?

– На ваших уроках я буду хорошо себя вести.

– Попробуй. – Юлия Юрьевна смеется и продолжает. – Прежняя учительница уволилась, теперь это место занимаю я. Пианино я трогать на наших уроках не буду, оно нам больше не понадобится. Я окончила Академию искусств по классу игре на гитаре. Раньше играла в группе, затем попробовала учить детей (временно заменяла в музыкальном кружке преподавателя), и после этого поняла, *что* мне нравится больше всего.

– В какой группе вы играли? Где? – спрашивает Дэн.

– В ночных клубах и барах. Группа называлась «Strong As A Rock», в переводе на русский «Силен, как скала», в честь любимой песни нашего вокалиста. Не жалею, что ушла из клубов. Не моя компания. Я люблю детей.

– Свои у вас есть? А сколько вам лет? – любопытничают одноклассницы. На уроке музыки не то же самое, что на уроках Дмитрия Валерьевича, где влюблены только девочки. Здесь – влюблен каждый, включая все живое за окном.

Я внимательно вслушиваюсь, однако Юлия Юрьевна удерживает свой возраст в тайне.

– Нет детей. – Смущенно отвечает она. – Как и педагогического стажа. Его у меня тоже нет, однако Дмитрий Валерьевич (мы учились в одной школе), по старой дружбе позвонил мне неожиданно и предложил попробовать занять освободившееся место учителя музыки. Так получилось, что я прошла собеседование и теперь я тут. Мы оба с ним тут. Если у вас остались ко мне вопросы, спрашивайте, я честно отвечу.

Оглядываюсь на класс. Может, кто-нибудь спросит ее об этом за меня? Мой взгляд касается Ярослава, и я удивлен, с какой невозможной силой Паштет засмущался новой учительницы. Если у меня от смущения на щеках проступило по одному розовому пятнышку, то голова Паштета целиком заполнена красным цветом, словно ему через ухо влили жестяную банку краски. Лишь бы теперь его башня фейерверком не взорвалась. А потом я говорю себе: чего ты? Ты же Ки-пят-кооов!

– Сегодня мы…

– Юлия Юрьевна! – ору я, перебивая ее и подбрасывая вверх руку, черт, слишком высоко. Она чуть не отрывается. – Ай. Юлия Юрьевна, вы не…

– Да. Слушаю, Степа.

Как она назвала меня по имени! Я сейчас в желе превращусь.

– Не могли бы вы… Ну, а вы обещаете ответить на все вопросы?

– Ммм, на все самые безопасные. Говори.

Мое внутренне «я» достает блокнотик со списком вопросов.

– Играете ли вы на чем-то другом? Например, на пианино? Или ударных?

– Да, играю. На клавишных и на электрогитаре, в том числе на басах. Это такая гитара с четырьмя толстыми струнами, она издает только…

– Я знаю. Еще спросить хочу. Вы не замужем, на вас нет кольца. У вас есть парень? Или вы замужем, но просто потеряли кольцо?

На этот раз все мои слова несут столько юмора, иначе почему учительница так ржет? Чуть со стула не падает. Взбалмошные волосы трепещутся вперед-назад. Я напряжен, но меня успокаивает тишина. А может, это все новая учительница. Ее глаза цвета дождевой тучи смотрят прямо в мои глаза, но это вовсе не страшно. Юлия Юрьевна подчеркнула их темным карандашом, и на ней это смотрится прикольно. Похожа на волчицу, но детей не ест.

– Не теряла я кольца. Нет, у меня никого нет. Что еще?

– Чем вы занимаетесь кроме работы?

– Музыка, пожалуй, занимает все мое время. Она как воздух. Я ей дышу. Она снаружи меня и внутри.

– Почему музыка – любовь всей вашей жизни?

– Такова моя сущность. Я выражаю чувства с помощью игры. Для меня нет большего удовольствия, чем петь под гитару. Что-нибудь еще?

– Да. Я могу ошибаться, но, по-моему, вы стараетесь от чего-то спрятаться в своей музыке. Мой папа так делает. Как-то раз давно говорю ему «давай в прятки». А он на гитаре играет. Он сказал: «а я уже спрятался». Говорю «где, пап? Ты же здесь!» «Меня нет. Я в музыке». Я тогда не понял, как это так. А сейчас, кажется, врубился. Я не замечал, что и со мной бывало так же: когда играешь на пианино, то совсем забываешь, что надо делать какую-нибудь дурацкую математику.

– Интересная история. Спросить-то что хочешь?

– О чем забываете *вы?*

– Опасный вопрос. – Говорит Юлия Юрьевна, душа ее спряталась подальше. Такому словесному наводнению я обязан дедуле, который в ярких красках рассказывал мне о бабушке, о маме моего папы, которая каким-то волшебным образом убедила его, что быть собой настоящим не всегда страшно.

– Ясно.

– Если это все, тогда запишем песню. Я спою ее под гитару, потом споем все вместе, затем весь класс поет без меня. Через неделю на следующем занятии мы сдаем зачет. Я вызываю четырех человек к доске, они исполняют один из куплетов и припев, за что и ставится соответствующая оценка. Если вы не выучили текст совсем – «два». Если вы выучили, но не поете, а просто открываете рот – «два». – Что я слышу? Стиль общения Дмитрия Валерьевича? Этот плут сам лично учил школьную приятельницу говорить или дал ей книжное пособие по запугиванию учеников? – Сегодня мы будем изучать песню легендарной группы. Я возьму гитару и наиграю. Кто угадает, что за музыку я исполняю – автоматом «пять» в дневник. Хорошо? – она подмигивает, вполне уверенная, что маленькие дети до такой музыки еще не дошли и никто сегодня «пять» не получит.

Самая большая ошибка взрослых – делать из детей *детсадовских* детей. Моя рука вскидывается в воздух самой первой и единственной, как только Юлия Юрьевна берет первые аккорды «Звезды по имени Солнце». Это любимейшая песня моего папы. Мне и текст этот в тетради записывать под диктовку не надо. Разбудите меня ночью, и я расскажу его наизусть.

«Пятерка» моя! Молодец, Кипяток!

# Глеб, 27 лет

По субботам государственные структуры не работают, что само по себе огромная радость – наконец-то выходные. Но только не для меня. В этом мире ничего не для меня. Радость – не для меня. Выходные – не для меня. Я сам себе больше не принадлежу. «Вы нам больше не подходите», мягко доносит собственная кожа. «Мы вам перезвоним», добавляет душа и захлопывает дверь, чтобы попрощаться навсегда. Лежу с ней в этой комнате, ограничивающей свободу в целом мире, и мне некомфортно даже в освобожденном от плена одежды теле.

Что делают нормальные люди в первую очередь по выходным? Гуляют со своими детьми.

А что делаю я?

Я – валяюсь у нее в кровати, когда меня извергает последний за ночь кошмар, думая о том, что произошло между мной и сыном несколько дней назад. Не ощущаю, как Равшана все еще гладит мою грудь и руки, покрытые разноцветными татуировками, которые начинаются на плечах и заканчиваются на кончиках пальцев. Моя кожа меня уволила, помните? Я ей надоел. Но самая большая тоска в том, что Равшана поставила на меня слишком многое. Лучше бы и она меня уволила из своей кровати. Пусть со строгим выговором, хоть как. Главное свалить.

Ночь с четверга на пятницу заставила задуматься, нужна ли мне эта жизнь такой, какая есть и могу ли я перевернуть ее одним движением. Мне снились страшные сны, будто мы со Степой играем у берега моря, я учу его кидать камешки, чтобы они скакали по поверхности воды, как мячик. Едва у Степы начинает получаться и меня накрывает его улыбка, как внезапно небо над нами переворачивается, мой сын теряет сознание, падает на берегу у черты песка и моря. Волны подкатывают под него, все ближе и настойчивее, я пытаюсь подбежать, воплю его имя во все горло, но мои ноги зарываются в песок, а волны смывают моего сына в океан. Мне остается только стоять и смотреть на пузырьки, как вода забирает у меня ребенка, я просыпаюсь с чувством безысходного отчаяния, потери и горя! Такого же горького на вкус, как в выпускном классе с Альбиной. Послевкусие того несчастного случая живет со мной по сей день, а что же будет, если я потеряю сына? Призраки беды поселятся со мной под одно одеяло?

*Море забрало его у меня. Оно оказалось ласковее меня, родного отца. Оно позаботится о нем лучше, поскольку оно, прохладное, намного теплее моих объятий, ибо дом мой пустой, и я – пустой.* Именно такое чувство выталкивает меня из кошмара, сопровождая до сих пор.

Ненавижу непроходящие чувства.

Сегодня ночью того хуже (всем кошмарам кошмар!) я вижу во сне (да в таком ярком, сочном), будто моему сыну уже лет восемнадцать, он высокий, крепкий и горячий красавец, все хорошо, НО! Я застаю его в этом сне в постели с мужчиной! Не то чтобы они были именно в постели… Степины руки были связаны над головой, они, вытянутые, висели в воздухе на цепи, а вокруг его обнаженного тела ходил мужчина, явно намного старше него, старше меня, и повсюду окутывал его руками и губами. Глаза Степы были закрыты, рот – раскрыт и слегка улыбался, а позвоночник его выгибался дугой. Меня вырывает в этом сне из тела. Я как будто выбегаю в другую квартиру, где сидит мой папа, бегу прямо через стену, словно призрак, и слова льются из меня, как из ведра:

– Папа! Мне надо тебе сказать!.. – врубаюсь на всю громкость и ору. – Степа! Он… О боже, что делать, папа?!

– Все *ты* виноват. – Отвечает отец с полными глазами слез, точно давно обо всем знает и прячет это от меня внутри, не зная, что, как свитер, вывернут наизнанку. – Это ты. Виноват. Во всем. Ты не был ему другом. В жизни Степы не было крепких, дружеских отношений с мужчиной. *Ты* ему этого не дал. Он вырос и нашел себе другого, который его приласкал, да

не так, тебе благодаря! Надо было меньше шляться по девкам, вроде секретарши. Тем девкам, у которых пуля в голове.

Это у меня – пуля в голове.

Клянусь, я просыпаюсь, как опрыснутый ведром воды, в море пота. Вокруг меня скрутилось одеяло. Простыни душат меня. А подушка взялась складками, похожими на усмешку. Она смеется надо мной, словно именно подушка является зачинщицей кошмара и видит, что шалость ей определенно удалась. Мне необходимо меньше пить перед сном, потому что в таком случае мне видятся или снятся всевозможные зрелища. Зрелища, типа смеющейся подушки или умирающего сына. Или как сын зажигает с любовником, а это удар в промежность любому отцу, даже такому чокнутому, как я – теперь я начинаю это *ощущать*.

Но чего я хотел? Ведь я позволяю обстоятельствам вытечь в нечто подобное наяву. Трачу время на девушку, готовую пойти на все, о чем попрошу. Стоит ли это того, если это всего лишь физическое? И если это так легко заполучить. Сначала нравилось, но чем дальше заходит, тем больше я понимаю: это слишком дешево. Чего-то этим отношениям не хватает. Духовности. Близости. Настоящей близости. Не хватает эмоций. Тех самых. Я сказал «чего-то»? Этим отношениям не хватает *всего!* Страсти. Солнца не хватает, которое опрокидывается, пока мы целуемся под открытым небом (с Равшаной и Мартой я никогда не целовался под небом, только с Альбиной). Мне не хватает ее уже много лет. Мне не хватает самого себя. Но что до моих свежих ночных кошмаров – после них мне ужасно не хватает Степы.

Я больше не стану искать то, что могла бы подарить только погибшая возлюбленная. Мне не вернуть мертвеца. Но я могу вернуть живого.

– Я знаю, как мы проведем остаток вечера. – Добавляет Равшана то, чего я уже не могу игнорировать. Я знаю, как *я* проведу остаток вечера. Как она – нет. Я наскоро ищу подходящий способ отделаться от нее, от ее тонкого, играющего голоска – не такого, как в суде. – Мы поужинаем в ресторане. Может, в японском? Давно не ели японскую еду, а я ее обожаю! – заканчивает она, и ко мне подкатывает тошнота. Но я не прекращаю думать о мальчике. В моем последнем сне он, обиженный и заплаканный, убегал от меня по квартире, хотя я бежал за ним, чтобы помириться. Но Степа всеми движениями показывал нежелание прикасаться ко мне, мы бегали по квартире и ничего не трогали руками, но вокруг нас разрушался мир: обои падали со стен, столы переворачивались, люстры бились, бились посуда и вазочки. Только стены не разрушались: они-то как раз вырастали в толщине и давили. Я испытал такой сильный страх в этом лабиринте, что вдруг Степа поранится об осколки! И это произошло, причем сразу, как только меня захватил страх. Мгновение, и Степина кровь повсюду – у него на лице и на руках. Впоследствии я проснулся с толчком такой мощной магнитуды, что даже Равшана подскочила со мной рядом. Это ненормально.

– Глеб, – шепчет она. Волны черных волос падают на мою грудь и щекочут кожу. – Ты любишь суши?

– Терпеть ненавижу рыбу в любом виде. – Говорю я, вспоминая беспощадное море, которое забрало моего Степу. – Мне пора. Слезь, пожалуйста, – прошу я. Прошу об одном, получаю противоположное. Равшана наклоняется и целует. Комната становится еще меньше в размерах и еще больше жмет на мировую свободу.

– Ваша честь… – мяукает она и продолжает, в то время как я чувствую себя заключенным, у меня свело челюсти, и рот не хочет раскрываться. Своим языком Равшана пытается раздвинуть мои губы, а мне не горячо, не холодно. С легким привкусом противности. Даже язык не хочет шевелиться, руки не лезут ни в одно ее место – с каких пор?

А потом что-то хорошее происходит с временем и пространством. Я закрываю глаза, и ко мне идет Альбина. Копна белокурых волнистых волос. Светлая кожа. Летний сарафан в цветочек. Осиная талия. Тонкие руки. Сложно представить, каким был я рядом с ней и каким стал потом, в компании Марты. Это два разных существа – ангел и черт. Альбина зовет меня

по имени – так, что ангел внутри меня воскресает и рвется к ней сюда, наружу. Она кладет руку на мою щеку, и от ее нежных прикосновений я сгораю дотла. Я вдыхаю запах ее кожи, волос, ткани сарафана, и целую ее крепко и глубоко, просто вбираю ее всю в себя.

Я думал, у нас все впереди. Я думал, она станет моей женой. Но прошло много лет, под землей любимая мною Альбина превратилась в косточки, а я все еще живу, мои кости все еще двигаются и вздрагивают всякий раз, как только возникает ассоциация – запах, фраза или цвет. Даже письмо от Альбины, которое она прислала, когда надолго уехала в деревню к бабушке, а я остался на пол-лета один без нее… Я храню его, как священный Грааль. Читаю и чувствую, что ничего не прервалось и не поменялось в недрах души. Я читаю его с тем же трепетом. Останавливаюсь на фразах, снова и снова возвращаясь к ним. Слова Альбины звучат во мне долго после того, как я откладываю чтение. В итоге снова плачу, пока никто не знает. Где бы и когда бы я ни перечитывал письмо, оно никогда не теряет власти над моим сердцем. Это самое настоящее, что я сохранил во всей своей жизни.

– Ваша честь. – Повторяет чужой голос. Я открываю глаза, копна светлых волос превращается в пряди черных извивающихся водорослей, которые захватили мое тело и сейчас задушат. Вместо чистого естественного лица Альбины передо мной накрашенная с самого утра Равшана со своими накладными ресницами-гусеницами и со своим «моделированием бровей». Реальность обрушивается на меня, как граната с вражеского самолета – со всей своей неправильной правдой, со всей жуткой Равшаной, со всем жутким мной – таким, каков я есть на самом деле, в кого я превратился без хорошей девочки. И мой сын. Мой Степа, мой любимый щегол, которого утащили волны. Мой мелкий Степа в крови. Мой взрослый Степа с мужиком. Я словно упал в змеиное гнездо и резко возвращаюсь к жизни. Не бывать этой фигне. Я переделаю треклятую жизнь.

– Я не *твоя* честь. – Говорю я, поспешно скидывая с себя руки и волосы, скидывая поспешно, потому что это настоящие змеи, Степа прав. – Остаток вечера я проведу со своим ребенком.

– Почему ты меня вместе с вами никогда не приглашаешь?

– Зачем? Равшана, мы договорились. Я не хочу никого обманывать, между нами нет ничего важного. – Напутствую я, ища по всей спальне второй носок. Мое лицо выдает, что это занятие намного важнее, чем разговор с ней – и, кажется, даже интереснее. Потому что предвкушение побега поднимает во мне только самые чудесные чувства. – Я любил девушку только однажды. И давай закроем это «дело».

– Ты уходишь? – чуть не плачет Равшана, путаясь в своем фиолетовом халате и простынях вокруг себя. Наверное, не может понять, почему я угоняюсь от нее, превышая скорость и врубив от радости на всю катушку металл, если так страстно поцеловал секунду назад. Жалко ее.

– Прости, Равшана. Прости.

– За что?

– За то, что заставил надеяться. – Я подхожу к ней и беру за подбородок. – Прости меня. У нас разные жизни. И разные судьбы. Я тебе не пара.

– Нет, Глеб. Пожалуйста. Я больше не буду заходить дальше.

– Равшана. – Настаиваю я. Мне приходится это делать. Чувство вины забрызгивает меня ее слезами. – Прости, дорогая. Мне жаль. Впредь только деловые отношения.

– Нет.

– Да. Так надо. Договорились? – я нежно целую ее сморщенный от плача лоб, и ухожу в прихожую, закончив одеваться, пока меня не затопила соленая вода, как то море из моего кошмара смыло Степку.

# Степа, 9 лет

Мое настроение меняется в цвете. Сначала я стараюсь быть хорошим. Потом я стараюсь быть плохим. А суть в том, чтобы быть настоящим. Сегодня я плохой. Я тот, кто смеется над собственным отцом, зная, что это ужасно, но удержаться не может. Ведь это и правда умора! То, как она говорит ему «О, ваша честь!», а он ей следом «Да, да! Называй меня „ваша честь“»! Когда мы с Ярославом не спеша возвращаемся за вещами, я тихо копирую голоса папы и его Щуки, потому что друг спрашивает у меня, чем мой отец занят сегодня вечером и сможем ли мы после футбола побыть у меня, ведь мой дедушка тоже планировал встретиться со старыми друзьями, пользуясь своей вылазкой из Питера. У моего деда друзей нет только там, где он еще не был. То есть, только на небе. Я тоже был бы не против друзей, с самого утра только и мечтал о футболе с ними, но встреча с Юлией Юрьевной опрокинула мой день и мир просто до неузнаваемости! У меня меняются все жизненные планы кроме возвращения к жизни папы и свадьбы с Принцессой Лали.

– Кипятков, тебя прям на Луне слышно. Что ты такое интересное рассказываешь? – вмешивается между нами с Паштетом Дмитрий Валерьевич. С немым отвращением я замечаю, что он обладает способностью *так* смотреть на учеников, что любой из них чувствует себя виновным во всем, что он захочет на них навешать, включая глобальное потепление и откол ледника. Я начинаю его ненавидеть за то, что при этом учитель остается неотъемлем от своей гипнотической внешности. Да и что у него за *уши* такие, которые способны подслушивать разговоры между жителями Луны?

– Я со своим другом секретничаю.

– Ты опять огрызаешься, Кипятков. – Шипит Дмитрий Валерьевич, своим тоном навевая мысли о том, какой это злостный грех – огрызаться с учителем. Я с ним не огрызался. Я даже не сказал ему: «Не перебивайте, когда дети разговаривают», хотя именно это и следует этим взрослым иногда говорить. – Где сегодня твой отец?

– Почем я знаю? – теперь я действительно закипел. Не могу понять, с каких пор сказать правду стало считаться неприличным? И что плохого в том, чтобы секретничать с другом? – Он за мной по выходным не приезжает. По субботам он с девушкой, ему не до меня.

Паштет пытается скрыть усмешку, вместо чего получается фырканье и вспышка красного цвета на щеках.

– Так, все идем в класс, садимся за парты! Я продиктую новое расписание. Дежурят сегодня Кипятков и Пашутин! – провозглашает Дмитрий Валерьевич, отзываясь эхом через весь коридор, захватив лестничный пролет, спортзал и вселенную. Думаю, ему нравится орать. Когда он орет, что-то маленькое и подлое, шевелясь, приятно щекочет его изнутри. Абсолютно уверен, что это его самоуважение.

Лали целует меня перед нашим с Яриком дежурством, когда расходится народ. Она говорит «увидимся на Точке», а я так сосредоточен на ее руках, что мне не удается признаться, что ни на какой футбол я сегодня уже не хочу. У меня созревает один план, который я должен хорошо обдумать в одиночестве, а еще неземное чутье подсказывает, что сегодня, да-да, не завтра, не через год, а именно сегодня, мне необходимо остаться в школе после ухода всех.

– Кипятков, – слышу я. И, не отвлекаясь от мытья пола, переспрашиваю: «Что?» – Повернись, когда я говорю с тобой.

Я заканчиваю мыть пол, поворачиваюсь и повисаю одной рукой на швабре. Как меня бесит этот тиран. Да не хочу я с тобой общаться! Мне надо быстро пол домыть и пойти на улицу, попытаться объяснить своему другу, почему я не хочу играть в футбол, хотя сам пока не знаю окончательной причины. Во всяком случае, чего бы я ни хотел, это точно не разговор с Ковтуном.

«Кипятков, посмотри на меня! Кипятков, не огрызайся. Кипятков, равняйсь, смирно, не крутись, не кипятись, не говори, закрой рот, отвечай на вопрос, закрути крышку».

*ААА! Достал.*

– Что? – повторяю я, натягивая это слово, как малой носок.

– Перестань говорить со мной в таком тоне. А обращаюсь я к тебе все по тому же вопросу. Хочу видеть твоего отца. Как бы нам с тобой это провернуть? – В другой ситуации я бы предположил, что это из-за моей дерзости, особенно в начале недели, особенно когда он попросил меня рассказать биографию Тютчева, и я не сказал ничего умного; но теперь я точно уверен, это из-за моих синяков учитель загорелся еще большим желанием видеть папу. В общем, того, кто мне их оставил. И говорит он на этот раз так, словно мы теперь сообщники. Станет ли мне после их общения лучше? Я уже ни в чем не уверен. Отец передо мной не извинился, я перед ним не извинился. Между нами уплотнилась стена, через которую мы не слышим друг друга, даже если сложить вокруг уха ладони. И не поможет нам никакой хитрый план. До тех пор, пока я новый не придумаю, *гениальный*. Решаю дать учителю очередной от ворот поворот, когда Дмитрий Валерьевич меняет одно лицо на другое и добавляет новым голосом: – Ничего не бойся. Ты для меня не плохой. Дети не бывают плохими, бывают родители с плохим поведением. Все идет из семьи. Обещаю, я *не позволю* ему нанести тебе вред. Сколько папе лет?

– Двадцать семь.

– Ага, сам еще малой. Я не намного его старше, и знаю, многие из мужчин в этом возрасте еще дети. Так что может это *его* надо воспитать, а вовсе не тебя. Ты меня слышишь? Идея, а может, пообщаешься пока с нашим школьным психологом? А что?

Я снова застываю со шваброй. Я и швабра. Мы теперь оба застывшие и прямые, потому что это предложение на счет мозгоправа бьет меня электрошокером. Он чо, угарает?

– Да. Конечно. – Говорю с сарказмом. – Только если решите подобное у меня за спиной замутить, предупредите заранее, чтобы, когда на меня налетят санитары, я был бы морально готов.

Дмитрий Валерьевич хмурится, и я морально готовлюсь к очередной словесной расправе, однако учитель не сдерживается и ржет, переглянувшись с Ярославом, который на этом моменте решается вклиниться в разговор и заступается за меня, каким-то образом наступив на горло своему смущению:

– Не обижайтесь на Степу. Он в душе лучше, чем ведет себя иногда. Он отличный друг. Думаю, он из тех людей, который не покинет горящее здание до тех пор, пока не спасет каждое живое существо, которое попадется ему на пути.

Я пробую эту мысль на вкус. Мы с Дмитрием Валерьевичем оба пробуем ее на вкус. Лично я ничего подобного не пробовал. Никогда не ожидал, что Паштет отзовется обо мне *так*. Вижу, когда люди говорят честно. Голос учителя, например, звучал честно, когда он утверждал, что желает мне всех благ и с папой хочет увидеться, чтобы прекратить в моей семье бомбардировку. Мне остается надеяться, что я соответствую ожиданиям Ярослава. Я действительно не растерялся бы в горящем доме? Я бы рисковал своей жизнью ради спасения другого существа? Ярик действительно так считает?

– Ты задал мне дилемму! – говорю Паштету, когда мы выходим из школы на улицу. В воздухе вкусно пахнет тополями. Вдох за вдохом в моих легких как будто распускается тополь.

– Дилемма это что?

– Сложная задача. Ты сказал, что я герой, а я не могу решить, так это или не так. Склоняюсь к обоим вариантам. Все может быть. Я, правда, такой, по твоему мнению?

– Да. Такой. Сегодня тебе хватит геройства красиво победить на поле? Пошли, что ли! Все, наверное, уже там кучкуются.

– Паштет, я не могу. – Решаюсь я.

Ярик роняет челюсть, так что мне виден весь его язык. С минуту он стоит, грозовое облако, которое повисло над его головой, мечет стрелы и хлещет холодным дождем на его пламя волос в этот солнечный день.

– Чо? Ну ты и пошутил.

– Не пошутил. Я немного планы поменял. Потом расскажу.

– Ты хочешь есть? Да после игры поедим! Если разбежимся по домам, не всех ребят предки смогут отпустить, ты же знаешь этих взрослых! У них тараканы в голове! Не знаешь, что они могут выкинуть! Но… чтоб *у тебя* были тараканы… Это какая-то лента новостей!

– Мне нужно прогуляться кое-куда одному.

– Одуреть. Ты капитан команды! А не полоумный, странный и одинокий художничек. Или все-таки художничек?

Что за слово – художничек? Можно подумать, что это синоним слова «отстой».

– Как будто это по-настоящему! – продолжаю я, вопя о футболе специально, чтоб перебить все иные мысли и слова Ярика. Он *видел*. Как я рисовал в тетради. И считает, что я спятил сильнее обычного, ведь я бросил рисовать на неделю, но это оказалось тяжелее, чем бросить курить. Когда кого-то любишь, сложно оставить творчество. Все равно, что оставить человека, которого любишь (рисуешь). Для меня это синонимы, любить и рисовать. – Футбол – это просто игра. – Я говорю правду. По сравнению с магией творчества – это всего лишь игра.

– Это весело, ты сам говорил. – Напоминает Паштет. – Что еще не по-настоящему? Может, дружба наша?

– Не устраивай сцену. Причем тут дружба? – или как еще объяснить Ярославу, что мне не хочется выяснять отношения, когда они и так предельно ясны. Мы друзья и изменять этого я не собираюсь. Просто иногда у меня появляются дела, в которые я не хочу посвящать никого. То есть, совсем никого. Даже дедулю.

– Ладно. Можешь кинуть команду. Скажи Лали, пусть тоже кидает. И пока мы будем гулять, вы будете с ней ходить целоваться в лес. Не нацепите только на задницы клещей.

– Но я не кидаю команду. Лали тоже. Подожди. Ты завидуешь мне? Хочешь так же с Кристиной?

От этих моих слов гроза над головой Ярика усиливается. Я могу заглянуть в его глаза и увидеть ледники. Его уже всего залило дождем, но никто до сих пор не включает фен.

– Вот теперь и ты мне задал эту, как ее? Дилемму. Я думаю, придурок ты или полный дурак, и склоняюсь к обоим вариантам. Не хочешь гулять сегодня с нами, вали. Но если еще раз нарушишь наши планы (не важно, с Лали или без нее), можешь искать себе другого Паштета.

Мой друг меня покидает, забирая с собой мое настроение, и мне за все его психи хочется размазать его по хлебу. По пути Ярик выбрасывает в мусорку мое хорошее настроение, и свое. Я не думаю, что скажут Ковчег, Дэн, Кристина и даже Лали, когда на игру явится один Паштет, а не Паштет с Кипятком. Сейчас я думаю только о том, чтобы как-то дать Ярику понять, что я не найду другого Ярика и главное не захочу никогда, но слова остаются у меня в голове, как пельмени в тарелке, которые стынут, не успев попасть в горло, поэтому я медленным шагом иду к воротам, придумывая, чего бы такого купить для Юлии Юрьевны. Мне хочется придумать такой же оригинальный подарок, как она. Юлия Юрьевна беспрепятственная и оригинальная, как мой папа. Они слушают одну и ту же музыку. Отец любит таких женщин, но не нашел свою среди них. Пора мне взять эту обязанность на себя.

Мне на ум приходит запах ее духов и браслет на руке. Я прицениваюсь по деньгам и соображаю, что бы учительнице больше всего понравилось. Тут в мои мысли вмешивается знакомый рокот мотоцикла. Мой отец. *Ваша честь.* Только его здесь не хватало!

Чтобы спрятаться от чего-то похуже, чем воображаемый дождь над головой не воображаемого почти бывшего друга, я забегаю в школу.

# Глеб, 27 лет

Я заглушаю двигатель, ставлю ногу на землю и снимаю перчатки без пальцев с липких от пота рук. Мой отец сказал, у Степы сегодня пять уроков. Надеюсь, я не опоздал – судя по тишине во дворе, пятый урок идет прямо сейчас, и я собираюсь дождаться Степу здесь, не буду писать и звонить, хочу сделать сюрприз.

– Как я рад видеть вас! – орет мне кто-то позади, и я поворачиваю голову на звук. Ловлю себя на том, что мне неинтересно, кому кроме сына меня так радостно видеть, но когда меня обходит длинный парень в рубашке и очках, встает передо мной, причем в такую позу, как будто готов начать фотосессию для рекламы туалетной воды, я чувствую, как мое безразличие растворяется в горячем воздухе. Я узнаю парня и все понимаю. Он именно такой, каким я его себе представлял, пока мне о нем рассказывал Степа. Что он там о нем говорил? Секси? Да, это так. Представляю, сколько бабских взглядов прилипают к этому парню со всех сторон. Тем не менее, он слегка ботан, судя по стилю. И моего возраста. – Глеб Владимирович, вас ко мне прямо Бог послал! – добавляет он, я чувствую, как ухмылка кривит мое лицо. По его лицу я определяю, что его это немного отталкивает. У парня хмурятся брови, а между ними появляется линия, словно в тетради по геометрии.

Думаю, я слишком строг в своем взгляде, когда обсматриваю его с ног до головы, то ли как судья подсудимого, то ли как крутой парень ботаника, и даже не думаю, что это могло бы выглядеть неуместно.

– Сомневаюсь, меня сюда скорее черти принести. – (А вот Бог меня *действительно* ПОСЛАЛ, дружище). – И вы напугали меня. – Говорю я, стараясь звучать так же, как выглядит мое лицо – то есть, совсем не как у человека, которого может что-либо напугать. Парень отводит от моего лица взгляд, наверное, решив лучше посмотреть на мое средство передвижения. Оно не такое страшное. А нет, точно такое же. Между мной и мотоциклом полное соответствие. Такой плавный переход от железа к человеку. Мы одно целое и оба сделаны из металла. Затем парень рассматривает мой стиль, всего меня, делая вывод не в мою пользу. Он выявляет в моей сущности несколько странностей, на что мне плевать. Кроме того, у меня возникает желание поиграть: – Вы кто вообще?

– О, простите. Я классный руководитель вашего сына, Степы Кипяткова. Дмитрий Валерьевич.

– Здарова. – Я жму его лапу. Слишком сильно, судя по тому, как у него вылезают глаза.

– Вы ведь Степин папа?

– А чо, не похоже? Вы откуда меня знаете? – требую я и наблюдаю, как учитель впадает в ступор, настолько взыскательно звучит вопрос – будто сама моя личность составляет государственную тайну *настолько* особой важности, что по условиям трудового договора я обязан ходить в шлеме даже в магазин за хлебушком.

– Я вас уже видел. Но только в шлеме.

– Допустим. Вы хотите дать рецензию на моего сына? Валяйте, только по шуре.

– Что-что? – плечи парня слегка сутулятся, а шея его вжимается в тело, которым он приближается ко мне, чтобы расслышать повтор ответа отчетливее. А еще ему необходима качественная расшифровка на понятие «по шуре». Ботан чистейшего источника! Можно подумать, что это его первый опыт работы в младших классах!

– Это значит – очень и очень быстро. – Мой собственный строгий голос в этот раз пугает даже меня. – Я видел ваши замечания в дневнике, но не решился спросить сына, какое преступление он совершил, помимо как не выучил биографию… этого… как там его… Не важно.

Лицо Дмитрия Валерьевича от отвращения скручивается как тряпка, которую отжимают вручную, будто я не смог вспомнить имя его лучшего друга или будто я напоминаю ему тяже-

лый случай, возникший в ходе его работы, или же его раздражает факт моей безграмотности в литературном деле. Он скрещивает руки, закрываясь на заслонку, не решаясь что-то сказать или спросить. Работа в суде обязала меня читать людей по лицам. Причем с внутренней стороны. Сейчас под маской учителя я вижу много всего, в том числе недовольство. Но… не Степой.

*Мной?*

– Я не буду говорить, что ваш сын балбес, каких я встречаю нередко. Наоборот, его умственное развитие превосходит его возраст. Он видит, как взрослый. Строит предложения, как взрослый. Когда они работали над кратким сочинением, я поднял голову проверить, как дети пишут. Точнее не пишут, а тупят над тетрадью, а рука Степы вихрем летает над листком. Он строчит эти предложения, как пулемет, и если отрывается на мгновение от бумаги, то только для того, чтобы подобрать подходящее слово. Он ищет его в своей голове, в воздухе, повсюду, и что самое интересное, у меня не спросит, будет надрываться, пока не найдется сам. Кроме того у него глубокий взгляд глаза в глаза. Я таких детей еще не видел.

– Знаю. Я, как повидавший несовершеннолетних негодяев, считаю, что незнание – это ключ к трагедии. Нормальной мамы у Степы никогда не было, и мы с папой объединили усилия в его формировании, мы с раннего детства учили его говорить, читать, играть на пианино. Что нам облегчало задачу, так это то, что Степе нравилось пробовать новое. Он смышленый и любознательный. Ему действительно нравится узнавать.

– Вы сказали о пианино? Степа играет?

– Да, и хорошо, причем. Мой папа тоже играет. Он учил этому меня, но я лучше сошелся с гитарой.

– Это грандиозно! Даже и не подозревал, что ваша семья с музыкой на «ты».

У меня щелкает в груди. Я рад, что наконец-то учитель восхищается чему-то в моей компании, и для меня это, почему-то, становится таким важным. Я прячу радость под последним слоем своей кожи, подальше от пронзительных глаз учителя, но в то же время понимаю, что больше не могу блефовать и играть.

– В нашей семье не все так гладко. – Признаюсь я. – Это же очевидно.

– Судя по чем?

Интересно. Теперь блефует *он?*

– По мне. По Степе. – Нет гордости в том, чтобы признаваться, что ты не способен построить счастливую семью. Поэтому я трачу все свои силы на каждое это слово.

– Встречают по одежке, а провожают по уму. Вам же не зря позволили надеть судейскую мантию. Что касается Степы… У него есть характер и длинный язык, который он не контролирует. В своей компании он лидер, я вижу это отчетливо. Друг Ярослав совсем не такой, он намного тише. Но громкость Степы почти всегда на полной мощности.

– *Почти* всегда?

– Всю неделю он был по-прежнему собой, но при этом начал что-то скрывать. Сегодня я спросил у него, почему на его руках синяки.

От слов учителя у меня обрывается сердце, в остальном я весь каменею, насколько это возможно. Мне не хочется слышать ответ сына, зная – в любом случае мне будет стыдно.

– Степа сказал, что упал на конструктор. И все. – Добавляет учитель, и я ему верю. Я верю в то, что он меня не проверяет, а действительно не знает всех деталей этого конструктора из проблем. Их надо сломать, как Степин замок. Мой сын, который продолжает любить меня и защищать даже после ссор, заслуживает лучшей семьи.

Я во всем сознаюсь сам.

– Да. Это я его толкнул. Он на меня набросился, потому что я стал орать из-за дневника, и не заметил, как дошел до крайности, до личностей. Причем оскорбил не Степу, а его

подружку. Не знаю, зачем. – Это ложь, все я знаю. Потому что вот *это* самое больное место в теле человека – другой человек, который полностью заполняет его изнутри.

Самое уязвимое сердце – любящее.

– Вы говорите о Лали Бабенко. – Определяет Дмитрий Валерьевич. – Я видел, как Степа рисовал ее сегодня на уроке в тетради. Хотел сделать замечание, но меня словно тормознуло. Видимо то, что у него получается…

– Прекрасно, наверное. Он посещал дополнительные занятия по рисованию.

– Точно. А еще я… вчера увидел из окна, как они целовались.

– В губы? – я поднимаюсь над землей вместе с мотоциклом. – Степа и Лали?

– Да. Почти как взрослые, а им всего девять. Но поскольку мальчик у вас умный, лично я *спокоен* за них. Любовь это хорошо. Во всех возрастах.

Этот парень говорит тихим, размеренным голосом психолога, который хочет меня успокоить и заставить отнестись к ситуации правильно, судя по одному только жесту его развернутой ладони. Он как бы говорит мне: тише, дружище, тише.

Но я не могу радоваться тихо.

– Чувак! – я рад в такой степени, что чуть не наворачиваюсь со своего железного коня, и Дмитрий Валерьевич не понимает, почему. – А уж я-то как спокоен! Какое счастье! Какое счастье, что мой сын рисует и целует Лали! А не Ярослава или Дэна! – добавляю я, и мой ответ снимает с учителя спокойное лицо. Он даже икать начинает, но счастье переполняет меня доверху, так что я не нахожу слов рассказать о своем сне, или хоть как-то объяснить бурную реакцию, да и какая разница? Какая разница, если этот кошмар остался позади?

– Понимаете. Насилие в семье к миру не приведет. – Говорит учитель, стирая последнюю тему разговора, словно мел с доски. И начинает перечислять факты. – Да, Степа получил замечания. Да, он заслужил эти замечая, он попридурился и хорошо меня вывел, но он делает это, потому что ему мало одного только лидерства в кругу друзей. Он пытается заставить *вас* зашевелиться и почувствовать, что он главный человек в вашей жизни. Он уже умный, но еще маленький, и ему нужен отец. Лучший друг в теле отца.

Ах, вот каков состав преступления.

Меня бесит, что все это звучит так, будто одного меня обвиняют. Мне так и хочется выдвинуть протест, кинуть в него презрительное: послушай, *парень*. Но я упускаю этот нюанс в разговоре, отделив кусок вины и для него, пусть угощается.

– Как, по-вашему, сохранить дружеские отношения, увидев дневник после вашего письма? «Пятерку» можно рассматривать под микроскопом, а зато «два» и «аморальное поведение» орут на полстраницы. – Говорю я и резко сворачиваю на безопасную тему, чтобы он не успел мне возразить. – Сколько минут до конца урока?

– Мой класс уже ушел. – Чуть скукожившись, как старый лепесток, бурчит учитель.

– Они ушли? Но до меня дошли сведения о *пяти* уроках! Степа нам с папой соврал, чтобы не столкнуться со мной? Опять не захотел меня видеть. Он меня стесняется. Я не похож на отца, скорее на старшего брата, не очень воспитанного.

– Думаю, вы не услышите ничего нового, если я скажу, что наши дети нас любят не за внешность. И…

– Какая разница. – Мне кажется, я перебиваю учителя на важном моменте, но меня ничего не останавливает. Я сам себе задаю вопросы и сам отвечаю на них. – Что бы я ни надел, татуировок меньше не станет. А шрамов в душе и того больше. – Выходит, я никакой не железный. Я настолько же сделан из металла, как цемент состоит из шоколада. – Сидя в тату-салоне, никогда бы не подумал, что делаю непоправимое, что мне это сможет помешать хоть в чем-то, если не в работе, так в отношениях с сыном. Я не знал, что так далеко зайду в карьере, но зашел. Не знал, что у меня будет сын, но у меня есть сын. Он целует меня ночью, когда думает, что я сплю, а я не являюсь для него примером. Когда у меня девушка в школе погибла, я делал

все, чтобы не сойти с ума. Я забыл, что чего-то стою. Я пробовал себя во всем новом, менял интересы и имидж, я даже пробовал наркотики. Слава богу, все кончилось. Ну, почти все.

– О боже.

Стоп! – простреливает меня изнутри. Зачем я разболтался? Где мой ограничитель скорости? Я оставил его в гаражном боксе вместе с глушителем? В любом случае я виню себя и хочу забрать откровение назад в потаенный край своей души, особенно после этого учительского выдоха «о боже», полного шока.

– Сам не знаю, как у меня руки дошли до этого. – Тонуть, так тонуть. – Наверно, я упустил момент, когда нужно было нажать на тормоз.

– Давайте поднимемся ко мне в кабинет. – Скорее не предлагает, а наказывает парень. Почему бы и не поговорить? Я сегодня здесь, чтобы объявить перемирие Степе, а беседа с его учителем может открыть передо мной новые горизонты. Я должен знать о своем сыне гораздо больше. Кто я без него на этом свете? Карикатура на запчасть от крутого байка в лучшем случае, на деле же – съежившийся бумажный стаканчик, из которого вылакали до последней капли. – Степа не обманул вас по поводу пяти уроков, – добавляет учитель в классе, когда мы оба располагаемся за столами. Я сажусь за парту, где, по словам учителя, сидит мой сын. – У них пятой должна быть физкультура, но Вилен Робертович уехал на соревнования со своей командой из старшей школы.

– Зачем вы говорите мне *это?*

– Затем, чтобы вы знали – ваш сын не прячется от вас. Наоборот. Он хочет быть с вами, вам для этого нужно стать лучше. Жизнь не закончена только на том, что вы потеряли любимую. Не спешите возражать. Я хорошо знаю это чувство. Я тоже потерял, и не только любимую, *многое*, но…

Ого, вот как! Я весь застываю на месте, хотя мое сердце поддается вперед. Дмитрий прочищает горло и тормозит, словно понимает, что так же как и я потерял где-то ограничитель своей словесной скорости. Ему нелегко удается сглотнуть, он делает это не один раз, будто старается сделать свое горло мягче. Я не сразу понимаю, что именно вижу под его суровыми очками, но через секунду меня как ошпаривает: я вижу боль.

– У вас есть ребенок, – подчеркивает учитель красной ручкой. Я уверен, *красной*. – В первую очередь вы должны беречь его, а девушки – потом. Жизнь непредсказуема, влюбиться можно снова, а самый любимый человек, который у вас есть, к счастью, жив и здоров. – Он на мгновение притормаживает, в его лице отражается что-то еще. – И если это так, то вы очень счастливый человек.

Мои губы сжимаются линией, я не должен, не должен расспрашивать парня о его жизни, это не мое дело, поэтому я просто едва заметно качаю головой в знак согласия.

– После рождения сына я понял, кого в этой жизни можно полюбить по-настоящему и навсегда. – Не могу не признаться я. – После учебы я сперва кидался к его кроватке. И с трудом выпускал его из рук. Степа не просто отвлекал меня от любви к погибшей девушке. Он доказал мне, что можно любить еще сильнее. Это была какая-то ошеломительная любовь, на грани безумной, а ведь мне было только восемнадцать. Вот. А потом он взял и начал расти. С годами кажется, что я ему все меньше нужен. Возвращаюсь мыслями к Альбине. Хотя Степу-то мне подарила вовсе не она. Этот подарок мне сделала другая, и он был лучшим. Как-то я немного об этой магии подзабыл. Да. Надо брать себя в руки, пока я окончательно не потерял Степу.

# Степа, 9 лет

Я сейчас тресну. Через трещину вы увидите мое потрясение.

Секреты взрослых ошеломительные, как папина любовь ко мне. Да-да, *он любит меня сильнее всех на свете!* Он подлетал к моей кроватке, чтоб поскорее увидеть. Он не мог от меня оторваться. От этого факта мне хочется взорваться на миллионы разноцветных конфетти, но это далеко не все, что пополнило багаж моих знаний сегодня. Вот еще факты, делающие мою жизнь лучше.

*Первый*. Папа нормально относится к моим поцелуям с Лали. (Когда учитель и папа начали разговор на улице, мои уши были за дверью, а когда взрослые собрались в здание, я весь оказался под лестницей, а теперь стою тут, прижав ухо к пробоине в замке, и, на мое счастье, слышно их просто прекрасно).

*Второй*. Мой папа чувствовал, как я целую его ночью. А значит, он тоже уверен в моих чувствах на все сто, хотя и сказал «С годами кажется, что я ему все меньше нужен». Это ложь. Он всегда мне будет нужен.

*Третий*. Учитель оказался бóльшим другом, чем предполагал я при первом впечатлении, и даже еще большим, чем я надеялся, прежде чем подготовить один из своих планов. Все идет лучше, чем я планировал. Просто как трамвай по рельсам.

Да, я не могу отделаться от навязчивого чувства стыда за отца. У него майка с черепом и дурацкие привычки вроде говорить «чувак» учителю, однако при этом все по-прежнему огонь, поэтому вернемся к фактам, которые в обыденной жизни остаются далеко от ушей детей.

Факты, которые делают мою жизнь сложнее:

*Четвертый*. Судя по бурной реакции папы на мои отношения с девочкой и его опасениям насчет Ярика и Дэна, мой папа почему-то считал меня не понять кем, но, слава богу, понял, что я в этом отношении абсолютно здоров.

*Пятый*. По поводу внутреннего мира Дмитрия Валерьевича. Я знал, что он одинок, но не догадывался, что это одиночество – последствие трагедии. По сути, нет у него внутреннего мира, у него внутренняя война. Он потерял девушку. Как? Она погибла, как папина? Учитель сказал, он потерял *многое*. Кого еще? Мне *ужасно* интересно все это знать и также ужасно жаль учителя.

Факт, который меня приятно удивляет:

*Шестой*. Дмитрий Валерьевич видел, как я рисую Лали. Прямо на уроке. Я не смог удержаться, смотрел на ее веселые кудри, на ее счастливые ямочки на щеках, и рука задрожала без карандаша и красок. Учитель заметил это, даже когда я не заметил. Моя рука сама первая начала! Но я и не знал, что получится так хорошо. Я думал, мой художественный спонтанный позыв замечает только Ярик, поскольку чувствовал его любопытство и напряжение, я никому не стал показывать рисунок и даже рассказывать о нем, но его обличило всевидящее око учителя. И он не отругал меня. Действительно – как можно ругать за любовь?

Есть еще один, последний факт, вызывающий во мне смесь самых разных чувств.

*Седьмой*. Папа считает мою маму ненормальной. Но именно она сделала ему лучший в мире подарок. Родила меня. Это тот самый подарок, который сделала не Альбина. А только она. Марта. Может, это поможет отцу поменять отношение к ней? И к тому, что я пишу ей письма? Тем более мы в семейке все «ненормальные», в одном компоте варимся. Что может быть скучнее, чем быть нормальным?

Интересная жизнь не должна быть нормальной. Официально объявляю: это пока что самый странный день в моей жизни.

Мое ухо по-прежнему работает на меня. Главное, чтоб в коридор никто не вышел. Если кому-нибудь приспичит в туалет, мне придется выпрямиться и упустить часть разговора,

а в моих планах стоит не упустить ни одной детали. Любая мозаика не завершена, если не хватает хоть одного пазла. Такую нельзя повесить на стену. Вот и я не смогу спать, если прослушаю хоть слово. Когда Дмитрий Валерьевич по просьбе папы рассказывает все случаи с моим «хорошеньким» поведением (зачем, зачем?), мой отец, выпустив страдальческий выдох самого грустного человека на земле, говорит:

– Я дико извиняюсь перед вами за все это дерьмо. – Такова первая реакция папы, но я уверен, когда мы встретимся, эти эмоции улягутся. – Я поговорю с сыном дома, и покажу, где раки зимуют.

– Вы опять? Не идите по протоптанной дороге. Как не можете понять, что это значит?

– Это значит, что он – дебил.

– Он несчастен!

– Вот именно. Дебил несчастный.

– А вы – его папа, осмелюсь заметить. – Не сдерживается Дмитрий Валерьевич, и я не обижаюсь.

Не обижаюсь на то, что папа меня обозвал дебилом. Когда папа обзывает меня, мне неприятно, но я продолжаю чувствовать его любовь. С этих пор это чувство будет только сильнее.

Сегодня я так счастлив, что во мне звучит волшебная мелодия, издаваемая гитарой. Сейчас вернусь домой и сыграю что-нибудь подобное на пианино! Музыку в себе не удержать. Но хотя подождите, я слышу ее на самом деле, а не только в своей голове. Это из кабинета Юлии Юрьевны доносится.

На четвертом уроке я был наслышан ее голосом, знакомыми мелодиями, которые в ее исполнении звучали еще слаще; я слушал это чудо, затаив дыхание, затаив все жизненно важные процессы – мою жизнь в этот момент поддерживала Юлия Юрьевна, я принимал ее музыку как донорскую кровь. И едва сдерживал себя, чтобы попросить выступить на бис.

Крадусь к кабинету и через мгновение вижу Юлию на ее стульчике с гитарой. Обожаю то, что она делает, раскрывая песню со всей душой и с новой стороны, о которой я не знал, прослушивая в исполнении другого исполнителя. Такой голос, как у Юлии, заставил меня задуматься над тем, какая странная штука жизнь. Это лотерейный билет. Тем, кто поет хуже Юлии, выпадает шанс петь на сцене, да еще и получать премии. А некоторые невероятные дарования, вроде нее, играют в маленьком классе в маленькой школе или того хуже – дома после работы, поскольку работают они не в музыкальной группе, а в каком-нибудь агентстве недвижимости, но даже не тратят своего времени на какие-то обиды, они любят свою жизнь такой, какая получилась. Вот и я счастлив, насколько это возможно – оттого что Юлию сдуло из ночного клуба и занесло к нам, не успев задуть куда-нибудь в Москву или Питер, где ее заметил бы какой-нибудь продюсер. Судьба решила, что здесь Юлия нужнее, и я угадаю почему, с трех попыток.

Вдыхаю поглубже, не заметив, что все это время пялился, затаив дыхание. Юлия осознанно смотрит прямо на меня, когда поворачивает голову, словно знает, что я давно там стою и слушаю ее, раскрыв рот. Такой телепатии между людьми не бывает! Мне хочется убежать, но учительница подмигивает мне, словно все так хорошо понимает, не прекращая петь. Словно ей нравится, как я стою здесь, открыл рот и слушаю. Ее улыбка заставляет меня улыбаться. Может, Марта меня украла в роддоме, а моей настоящей маме наврали, что я умер? Моей настоящей маме, которую зовут Юля. А не Марта.

Я фантазирую о чем-то несусветном и тут же себя останавливаю. Если уж воображать, то «под ключ», а судя по моим воображениям, выходит, что и папа мне не настоящий отец, а этого быть не может, мы две капли воды, просто я – маленькая капля, а папа большая. Мою маму зовут исключительно Марта. И мое последнее письмо обязательно тронет ее, она ответит на этот раз. Она возьмет трубку и скажет «Привет, Степа». Или эта мысль тоже за гранью

реальности? Может, мамы, которой я пишу, не существует? Может, я выдумал маму, а папа нашел меня в капусте? Или скачал в Интернете?

Эти мысли ранят меня, мне делается фиолетово на то, что я прослушал последнюю часть разговора папы с учителем. Слушать Юлю оказалось приятнее, а потом произошло другое. В моем мольберте только фиолетовая краска, и ею окрасились все предметы в мире.

Как удивительно может перемениться настроение, притом, что по факту ничего в жизни не меняется, но стоит только закрасться в голову одной маленькой подлой мыслишке, словно червяку в яблоко…

Страдая от боли, я отхожу от двери и сажусь на скамейку у какого-то безумного цветка в десять метров под потолок. Плакучую иву назвали так из-за того, что ее ветви сникли, провисли над водой от грусти, будто растение скорбит и плачет, плачет, пока пустая яма не превратится в озеро. Судя по растению возле меня, чьи листья торчат во все стороны, как шевелюра бойцовской курицы, это дерево не плачет, а высмеивает кого-то. А мне не смешно, я словно слетел на всей скорости с велика, ободрал коленку, и теперь мне нужен тайм-аут и фельдшер.

Песня в классе стихает, зал снова наполняется тишиной, я слышу, как Юлия говорит ребятам подучить текст, пока она отнесет книги в библиотеку (и пока в коридоре раскрывается другая дверь, в *мой* класс). Мне слышно, как Дмитрий Валерьевич объявляет папе благодарность за то, что он уделил ему время, и просит беречь меня.

Я подлетаю со скамьи и скрываюсь за насмехающимся цветком. Шевелюра цветка надежно отгораживает меня от происходящего на планете. Наверное, цветок-смех специально выращен защищать ребенка, который хочет сбежать с урока или спрятаться от папы, потому что в уме у него загорается идея на миллион долларов, и он уверен, что это сработает, ведь сегодня самый ненормальный и удачливый день в году.

Я слушаю папины шаги после того, как он напоминает моему учителю о номерах своих телефонов, которые находятся в его полном распоряжении. Юлия Юрьевна плывет по коридору с другой стороны, держа в руках книги; ее несет на волне музыки, потому что мелодия до сих пор играет в ней самой, голову даю на отсечение. Я стараюсь не дать своей решительности улетучиться, и это еще сложнее, чем не сойти с ума от ужаса, когда тебя бросают на дно бассейна или когда ты в очередной раз пытаешься не дать воли языку, который слишком слаб, чтобы остановить словесный прорыв.

Вот, что я придумал: выскочить из-за угла, чтобы толкнуть учительницу в объятия отца. Слава богу, я вовремя соображаю, что «план А» несет в себе излишний оптимизм.

Что придумать для маскировки на скорую руку?

Нелепая возня!

Переворачиваю шиворот-навыворот тонкую ветровку (на изнанке она другого цвета), напяливаю на голову капюшон, и…

Мой «план Б» превосходит ожидания: я даже успеваю спрятаться на лестнице.

В голосе отца мне прекрасно слышно, как для него в этот миг в мире меняется *все*.

# Глеб, 27 лет

Пока вспоминаю, как люди дышат, мое сердце пропускает тысячу ударов, а потом решает на мне отыграться за упущенное. Учтите, оно может так пинаться исключительно потому, что я испугался. Когда я пытаюсь дойти до лестницы, я вижу, как всего в нескольких сантиметрах от меня идет практикантка в кедах, а некто низкорослый по уши укрытый в капюшон выталкивает у нее из рук все учебники. Я ведь не смог бы пройти мимо, или сказать «куда летишь» пацану, или сказать «куда прешь» практикантке, я просто поступил так, как заставил меня сработать организм: присел и начал поднимать книги.

Выпрямляясь и молча принимая благодарности, я смотрю на девочку, но на этот раз не на кеды, а на ее крутую футболку с надписью о бессмертии Виктора Цоя, на ее волосы, которые падают ей на грудь, а затем на ее лицо, и мое сердце… мое сердце до сих пор бьется от испуга, да, именно от него, я же собирался уйти из школы, а на меня тут обрушилась лавина из учебников.

Нет, не учебников. Это ведь книги о музыке. Биографии музыкантов, история о русском и советском роке… Откуда здесь это (включая и рокершу, которая это несла)? Я где нахожусь? В начальной школе или в музыкальном училище для неформалов?

А потом наши глаза встречаются. Что-то заставляет нас с практикантком сделать паузу, остановить планету, и оценить это мгновение на вкус. Мы просто замираем и перестаем куда-либо торопиться. Зачем? Секунда – и я выражаюсь единственным попавшим мне в горло вопросом:

– Вы здесь на практике?

– Я на работе. Юлия Юрьевна, учитель музыки.

– Учитель? – у меня шея начинает гореть. – *Музыки?* – удивление искажает голос до неузнаваемости. – Этой? – я киваю на книги в ее руках, с которых девчонка, то есть, Юлия Юрьевна, учитель музыки, старательно смахивает невидимую грязь.

– Всей понемногу. А вы чей-то братик?

– Я – папочка. – Стараюсь вторить ее манере распылять по воздуху ласку, но получается какая-то колкость. – Кипяткова Степы.

– Правда? Я так и подумала, что вы его родственник.

– Дальний. – Подмигиваю, чтобы ее рассмешить, и во мне вырастает гордость, потому что мне это удается.

– Ну, точно папа с сыном! – девчонка совершенно неудержима, она, кажется, просто в восторге и обожает весь этот мир, она из тех, кто отрывается от земли и не спешит обратно. – У него ваши замашки. И чувство юмора. Даже тон голоса.

– Ммм. Как мне это льстит.

– Он мне очень понравился!

– Да неужели?

*А я – нравлюсь?*

– Да. Сегодня у них был мой урок. Я поставила Степе «пять».

– «Пять» по музыке? Этот дебил еще и поет? – интересуюсь я, ведь на уроках дети на пианино не играют, они только пишут тексты и поют. Но я не знал, что мой сын умеет петь на «пять». Я знаю его бурливую любовь к котам, из-за которой он не может спокойно пройти мимо котенка (ему обязательно надо его потрогать и накормить), его эмоциональную неуравновешенность знаю, его импульсы, неумение молчать, знаю его дар к рисованию, знаю, что он жжет на пианино и что-то там калякает в форме прозы, но чтоб еще и петь? Поет ли он вообще, сидя за клавишами дома? Я никогда не слышал.

– Как вы можете? Он умный мальчик! И на моих уроках он ведет себя идеально.

– Хм, от моего удивления, кажется, сейчас море высохнет.

– Правда, – Юлия вскидывает указательный палец, и я замечаю на ее ногтях лак цвета падения в бездну, – если он хочет сказать, его не остановить. Но вы не должны говорить о нем в презрительном тоне. Лучше бы вам гордиться сыном, он у вас… такой необычный. – Из Юлии прорывается нечто, от чего у меня щемит сердце, словами она как будто недоговаривает фразу «Вы – тоже».

– Я объективен в оценке сына. – Ответ идет из меня более жестко, чем сидит в голове. В голове и в груди у меня наоборот сейчас все мягко и тихо. – Он хулиган.

– Копните поглубже и удивитесь сильнее.

– Я юрист, человек прямой, не умею думать творчески.

– Думаю, вы что-то скрываете. – Она смотрит на мои татуировки. Мне хочется сбежать, накинув на себя исламскую паранджу, поскольку, вот черт, они ужасны, как и я, они греховные и дьявольские, как я, однако в голосе Юлии булькает интерес и ни капли гадливости. – Вау, ваши наколки… они просто… – не закончив, она вдруг облизывает, а потом закусывает губу, и этот жест выходит у нее таким непосредственным, таким нечаянным, словно она и не хотела выглядеть соблазнительно. У меня вмиг останавливается сердце (еще раз), переводит дух, и колотится вновь. – Вы ходячее искусство.

– Угу, автопортрет в стиле демонизм.

– Мне нравится! Смотреть любо и тяжело. Это ведь так больно!

– На самом деле не очень. – На этот раз я не прикалываюсь. Юля ничего не знает о той моей боли, по сравнению с которой боль от иглы с краской – ничто. – Крыша в молодости ехала.

– Вполне художественно у вас ехала крыша.

Отведя взгляд от груди, я снова смотрю выше и замечаю, что литры жизни прямо прорываются через ее поры, поскольку Юлия Юрьевна, наверное, всегда видит мир в солнечных лучах. Я и не знал, что у оптимиста глаза цвета грозовой бури. Я не знал, что живая и мертвый могут стоять так близко друг к другу. Сегодня явно день интереснейших знакомств! Бывают дни, когда ты взрываешься ощущением, будто так вот и должно было случиться по задумке судьбы, как было у меня в школе с Альбиной.

*Альбина*.

Боже мой. В этот миг я словно выныриваю из фантастического мира. Как когда ты спишь, а на тебя вдруг выливают ведро воды. Я осознаю, что Альбина никуда не делась, она по-прежнему напоминает свежую татуировку на самом болезненном месте, но и мысль о ней, само ощущение ее духа сейчас не причиняет мне никакой боли – почему вдруг это произошло? Как получилось, что я думаю об Альбине и в то же время мне хорошо? Неужели это мой шанс сняться с рычага и двинуться дальше в поисках новых хороших дорог?

С этой девчонкой? Это *она* на меня так действует?

Черт. Я должен это выяснить!

– Вы гитаристка? – вылетает из меня вопрос, словно стрела, а направляю я ее прямо в сердце Юлии, чтоб наши ощущения переплелись, хотя, чем в этом может помочь простой вопрос о гитаре? Кажется, совершенно ничем, пока я не обращаю внимания, как сильно Юля довольна тем, что я спросил.

– А как вы поняли? – от радости она вся превращается в костер. Могу поклясться, что слышу, как между нами трещит воздух.

– Вы играли только что.

– Слышно было?

– Нет. У вас вмятины на подушечках пальцев остались после прижатия струн.

– Вы наблюдательный.

Кажется, мне удалось ее ошеломить. Следующее, что я говорю – это то, что тоже играю на гитаре, точнее, раньше играл, а потом случилось много чего сразу, я стал играть все меньше,

а работать и учиться все больше. Я говорю, что Степа тоже играет, но только на пианино, а еще иногда на моих нервах. Музыка получается тяжелая! Мы с Юлей смеемся. Судя по тому, как легко из нее прорывается смех, она делает это чаще меня. А затем мы смолкаем, но мне не страшно. Никакого замешательства. У нас как будто заканчиваются все слова, но прощаться мы не спешим. Хотим продолжить, но не знаем, как. Стоим, выдумываем. Так хочется! И наконец, я первым спасаю общение, понимая, что ни фига не назвал ей своего имени.

Но даже когда Юля и его узнает, нам приходится расстаться. Она на работе, а я иду искать сына, потому что и с ним очень сильно хочу быть. Удивительно, что с самого утра вокруг всех моих желаний и планов собирался только Степа, а теперь в них вмешалась Юля. Я знаю, что захочу поговорить с ней через две минуты после того, как выйду из школы, но я также знаю, как ее отыскать опять.

# Степа, 9 лет

Теперь можете рисовать огромный (размером с половину Питерского футбольного поля) плакат с надписью «Кипятков – сила!»

Закрываю глаза и вдыхаю радость поглубже. Это было фантастически! Жаль-жаль-жаль, очень жаль, что никто, кроме меня, не слышал, *как* звучал голос моего отца. *Его чести.* Чести, которая временно сместилась с должности (дедуля однажды сказал папе, что «его *совесть* сместилась с должности»). И *как* стучало папино сердце. Оно трепетало живой рыбкой на берегу. Это слышал только я. Хотя о чем я жалею, если мне все это нравится, так нравится, что остановить свое довольство я никак не могу – легче горох по потолку рассыпать, чем скрыть свою радость под третьим лицом.

Мне все это *ужасно* нравится. И то, как мой отец переводит с вытаращенными глазами дух, словно только что поздоровался за руку с самым крутым человеком на свете. Ну, или почти так, потому что честнее говоря, мой папа похож на пацана, когда я выбегаю из школы после него. Да, именно на пацана. Не из-за стиля. Моего отца угнали, как мотоцикл, хотя мотоцикл по-прежнему под его тощей задницей находится. А папы больше нет, он другой.

Наши глаза встречаются, а слова застревают в горле, настолько их много. Будем выражать любовь объятиями. Мы с папой крепко обнимаемся и зависаем во дворе на вечность. Я плыву в запахе его одежды, его тела. От него ненавязчиво пахнет лосьоном, теплом и просто папой. Когда я смотрю в его глаза, он улыбается еще шире и говорит, как разговаривал с Дмитрием Валерьевичем и что он ему про меня все рассказал.

– Прости меня. Я больше не буду…

– Это *ты* прости. – Не дав мне закончить, говорит папа. – Это я – больше не буду.

С чего я взял, что отца угнали? Его не угнали, а вернули. Я внимательно смотрю в его глаза, в их черный бездонный цвет, который отчетливо виден только секундными мгновениями, потому что папа все время щурится от яркого солнца, которое чуть разбавляет уголь в его глазах, от чего уголь этот превращается в горький шоколад. Я кладу ладони на его щеки, ведь ему это нравится. Я помню, как это было раньше. В детстве я на день по десять-пятнадцать раз переспрашивал папу, любит ли он меня (маленькие дети обожают такое слушать), и в ответ отвечал «тоже люблю очень сильно», а еще клал ладошки на его большое лицо, чтобы папа не отвернулся и смотрел прямо в мои глаза. С годами лицо папы становится все меньше, мои руки скоро смогут полностью накрыть его щеки, но я всегда буду его обнимать так крепко, что между нами и сквозняк не пробежит.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.